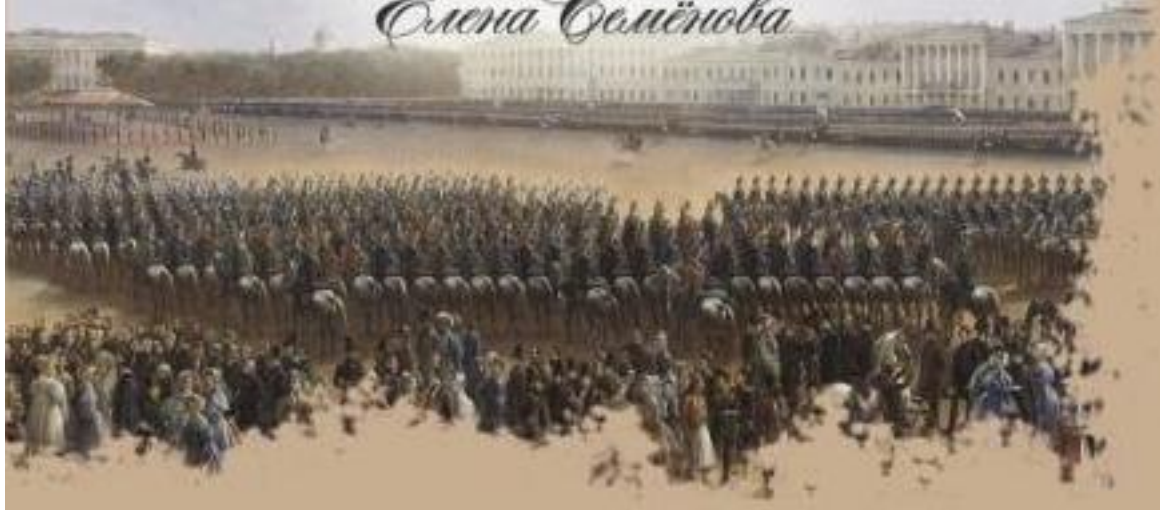




# ВО ИМЯ ЧЕСТИ И РОССИИ

*Елена Семёнова*



Елена Семёнова

**Во имя Чести и России**

«ЛитРес: Самиздат»

2016

## **Семёнова Е. В.**

Во имя Чести и России / Е. В. Семёнова — «ЛитРес: Самиздат»,  
2016

Новая книга Елены Семёновой сочетает в себе два жанра: хронику царствования Императора Николая Первого, чьё правление до сих пор остаётся оболганным либеральными и советскими “историками”, и авантюрно-приключенческий роман, захватывающий сюжет которого не оставит равнодушными ценителей этого жанра. Следя за увлекательными перипетиями судеб главных героев, читатель страница за страницей будет открывать для себя историю тридцатилетнего правления Николая Подвиголюбивого - заговор декабристов, Персидская война, золотой век русской литературы, война с Шамилём, духовная жизнь Империи, Восточная кампания... Пушкин и Достоевский, прп. Серафим и свт. Игнатий (Брянчанинов), Ермолов и Воронцов, Нахимов и Завойко - читателя ожидают встречи со многими славными деятелями нашего Отечества. Новый роман будет, несомненно, интересен всем, кому дорога русская история.

# Содержание

Заговор	5
Пролог	6
Глава 1.	10
Глава 2.	26
Глава 3.	30
Глава 4.	37
Глава 5.	45
Глава 6.	50
Глава 7.	52
Глава 8.	58
Конец ознакомительного фрагмента.	65

## **Заговор**

## Пролог

Карету в очередной раз подкинуло на ухабе, и граф Неманич до крови прокусил губу, еле сдержав крик от пронзительной боли. Нет, не думал он, бросаясь в путь очертя голову вопреки советам врачей, что эта проклятая рана, казавшаяся ему сущей царапиной, в считанные дни доведет его до состояния, прямо скажем, угрожаемого. Дергающая, разрывающая плечо и грудь боль становилась все нестерпимей, а от жара туманилось в голове, и граф то и дело впадал в насыщенное кошмарами полузабытье. Очнувшись от очередного легкого обморока, он заметил, что карета стоит на месте и, пересилив звон в ушах, расслышал, что кучер с кем-то разговаривает. Второй голос определенно принадлежал женщине.

– Флор, что там случилось? – слабо окликнул кучера граф.

– Да, вот, барин, барышня здесь, – прогудел в ответ Флор. – Сказывает, будто ехала в город, да коляска поломалась, и ей пришлось идти пешком. Подвезти просит.

– Так что же, она одна? – удивился Неманич.

– Одна, сударь, – в окне показалось усталое лицо молодой женщины, частично скрытое капюшоном. Она была одета в простое темное платье и плащ и держала в руках небольшой саквояж.

– Что ж, садитесь, – согласился граф, пытаясь разгадать, что может делать молодая женщина в поздний час одна на безлюдной дороге. – Мы как раз едем в город. Только уж не взыщите: быть галантным кавалером я в настоящей момент не могу.

– Благодарю вас, сударь, – незнакомка тотчас устроилась в карете напротив него и откинула капюшон. Несмотря на сумрак, граф смог рассмотреть ее. Его неожиданная спутница была уже не юной девицей и вряд ли могла назваться красавицей: слишком волевой для женщины подбородок, высокий лоб, густые, жесткие волосы, характерные для народов востока, матово бледная кожа, тонкие губы и прямой нос... И все же что-то необычайно притягательное было в ней – в черных, почти немигающих глазах, таивших в себе скрытую силу.

– Позвольте представиться, граф Платон Константинович Неманич.

– Княжна Евгения Дмитриевна Сокольская.

– Как вам случилось оказаться одной в такой час на дороге? – осведомился граф, превозмогая боль.

– Это долгая история, но когда-нибудь я непременно расскажу ее вам, – пообещала незнакомка. – Когда ваша рана не будет так мучить вас, и долгие рассказы вас не утомят.

– Моя рана... – Неманич поморщился. – Надеюсь, в этом несчастном городишке найдется хоть один порядочный эскулап. На прежних остановках мне приходилось встречать одних коновалов.

– Они не коновалы, – ответила женщина. – Они обычные доктора, занимающиеся лечением плоти и не вспоминающие о том, что болезнь тела во многом лишь следствие болезни души. Ваша телесная рана могла бы остаться всего лишь царапиной, если бы всякую секунду ее не раздражала иная – более глубокая и страшная. Это она доводит вас теперь до горячки и бреда, – она говорила размеренно, не сводя взгляда с графа, и тот вздрогнул:

– Помилуй Бог, да не бред ли вы сами?

– Не больший, чем все, что нас окружает. Телесная рана не заставила бы вас покинуть постель и мчаться по этим убийственным для вас дорогам. Это сделала рана души. Она гонит вас и доводит до изнеможения.

– Что вы знаете обо мне? – настороженно спросил Неманич. – Разве мы встречались прежде?

– Нет, не встречались. Но я всегда знаю, когда люди страдают. Будь то телесные раны или душевные. Не беспокойтесь. Ваша рана плоха сейчас, но она поправится, потому что когда мы достигнем города, я займусь ею сама – и даю вам слово, уже утром вам станет легче.

– Что же, вы полагаете себя искуснее врачей? – недоверчиво спросил граф, утирая капли пота с пылающего лба.

– Я полагаю, что сумею помочь вам, – отозвалась княжна. – Если утром вы не почувствуете себя легче, то предайтесь в руки коновалов. Но, верьте, я знаю, что говорю. А теперь давайте помолчим. Разговор утомляет вас, а это вредит делу. К тому же у нас будет довольно времени для бесед после.

Неманич хотел возразить, но силы оставили его, и он вновь провалился в забытие, впрочем, на сей раз не терзавшее его кошмарами.

В город они прибыли глубокой ночью. Граф смутно помнил, как его внесли в гостиницу и уложили в постель. Один из гостиничных служек при этом неосторожно задел его плечо, и от очередного взрыва адской боли он окончательно лишился чувств.

Неманич очнулся поздним утром, когда солнце уже вовсю полыхало за окном, пробиваясь сквозь занавески в комнату. Он с удивлением почувствовал, что жар заметно утих, как и боль, не дававшая ему спать несколько ночей кряду. Осталась лишь сильная слабость и странное жжение у самой раны. Граф попытался подняться, но повелительный голос удержал его:

– А, вот, вставать вам еще рано. Теперь вы не продолжите путь, сколь бы важен он ни был, пока рана ваша не перестанет вызывать опасения.

Она сидела в старом кресле с высокой спинкой и массивными подлокотниками – только теперь он заметил ее и невольно смутился:

– Вы были здесь всю ночь?

– Разумеется. Ведь я дала вам слово, что утром вам будет легче. А я весьма серьезно отношусь к своим словам.

– Должен признать, мне действительно много легче. Благодарю вас. Но как вам это удалось?

– Есть средства, которые врачи презирают, но старые люди помнят их, хранят и передают тем, кто верит их науке.

– Знахарство? – бледно улыбнулся граф.

– Что-то в этом роде, – кивнула княжна. – Вы, я думаю, голодны? Я распорядюсь, чтобы подали легкий завтрак.

Неманич не возражал – впервые за долгие дни он, действительно, чувствовал голод.

За завтраком, который загадочная знахарка поделила с ним, он спросил:

– Вы провели рядом со мной всю ночь. Не станут ли вас искать? Ведь вы, должно быть, ехали в этот город к кому-то.

– Я не ехала в этот город, – ответила она, невозмутимо намазывая хлеб маслом.

– То есть как?

– Я шла куда глядят глаза, но пешие прогулки бывают утомительны, и, встретив карету, я решила, что было бы весьма недурно проделать часть пути более удобным образом.

– Простите... – граф поморщился, – но я решительно отказываюсь что-нибудь понимать. Куда же все-таки вы теперь направляетесь?

– Полагаю, что в вашей карете довольно места, стало быть, пока что нам по пути. По крайней мере, до границы...

– Как вы узнали, что я направляюсь за границу?

– Ваш кучер сказал мне это.

Неманич помолчал несколько секунд, пытаясь собраться с мыслями. Между тем, княжна продолжала уплетать завтрак с прежней невозмутимостью.

– Я думаю, Евгения Дмитриевна, нам надо объясниться, – начал граф, не без труда подбирая слова. – Я вам глубоко признателен за вашу помощь и готов отвезти вас, куда вы прикажете, но...

– Но? – немигающий взгляд снова остановился на нем.

– Но я хотел бы, чтобы между нами сразу была ясность... Как бы это точнее определить... Дело в том, что я...

– Связана? – полуутвердительно уточнила княжна. – Пойдите, не продолжайте... Вы не женаты, нет.

– Не женат...

– Но узы, которые связывают вас, страшнее брачных. И это, – она легко коснулась раненого плеча графа, – и есть ваша рана...

– У вас есть дар видеть больше, чем обычные люди, – заметил Неманич, внезапно заинтересовавшись. – В таком случае добавлю к этому еще одно. Я не граф Неманич.

Это признание, кажется, ничуть не удивило странную женщину.

– Что ж, – пожалала она плечами, – в таком случае, мы с вами квиты. Я тоже не княжна Сокольская. И я также связаны серьезными узами, которые не допускают меня к тому, о чем вы подумали, – заметив волнение лже-графа, она добавила почти весело. – Не беспокойтесь. Тот, кому обручена я, не станет искать меня и не станет защищать мою и свою честь клинком или пистолетом.

Неманича осенило:

– Черт возьми, монахиня!

«Княжна» звонко расхохоталась:

– Мне кажется, сударь, мы с вами пойдем друг друга. Я обещала вам рассказать мою историю. Думаю, настала пора сделать это. Мои родители – помещики Полтавской губернии. Они очень хорошие люди и, поверьте, я искренне люблю их, равно как и моих братьев и сестер. Беда в том, что они... рабы общепринятых порядков. Дурных и хороших, разумных и глупых. До семи лет меня, главным образом, воспитывал дед. Это был человек удивительных знаний. Настоящий энциклопедист. Он-то и разбудил во мне ту ненасытную жажду знаний, которая помноженная на природные способности, сделала меня почти изгоем в собственной семье. Меня любили, конечно, заботились. Но все мои интересы, моя любовь к книгам и наукам не только огорчала, но и пугала родителей, искренне считавших уделом всякой девицы – домашнее хозяйство, шитье, немного танцев, музыки, французского языка для выезда на губернские балы, кои я, по правде, терпеть не могла, предпочитая им книгу, занятие рисованием, изучение медицины и философии... Не удивляйтесь. У деда была превосходная библиотека и, умирая, он наказал, чтобы мне никогда не препятствовали в ее изучении. У меня хорошие способности к языкам, поэтому я без труда выучила не только французский, английский, немецкий и итальянский, но и греческий, а также до некоторой степени иврит. Я много путешествовала по монастырям, там мне удавалось говорить с учеными монахами. Вопросы религиозные также немало занимали меня. Природа допустила ошибку, дав мне тело женщины, хотя говорить так и грешно. Единственным человеком, понимавшим меня, был мой старший брат Дмитрий. Он погиб при Аустерлице... И мое одиночество стало полным. Вы не можете себе представить, как это тяжело – изо дня в день терпеть молчаливый гнет родных людей, которые смотрят на тебя одновременно с недоверием, жалостью и обидой. А в чем я провинилась перед ними? Лишь в том, что не была похожа на своих сестер, смотревших на меня с презрением... Матушка время от времени устраивала мне шумные сцены, после чего демонстративно болела по несколько дней. словно бы я делала что-то неприличное! Наконец, терпение мое иссякло, и я решила на единственное средство, которое казалось мне тогда допустимым – я поехала в Полтаву, где моя тетушка была настоятельницей в монастыре. Там я приняла постриг... Мне было двадцать два года, и прочитанные книги не могли заменить мне жизненного опыта, знание наук –

знания самой себя. Монастырь стал для меня новой темницей. Впрочем, таковой он был для большинства сестер... Среди них были некоторые, которые имели талант к служению Богу, ибо это ведь тоже талант, и превеликий. Они преображались, стоя на молитве! Души их возносились туда, куда для большинства из нас двери пока оставались закрыты. Они принимали своего Небесного Жениха сердцем и любили его. А мы... Мы исполняли обеты и тяготились ими. Через три года я поняла, что совершила самую большую ошибку в жизни, и что больше не могу оставаться в этих стенах.

– И вы не побоялись нарушить обет?

– Я решила, что нарушу его лишь в том, что не стану жить в монастыре, но это не означает, что я собираюсь вести светскую жизнь, выходить замуж и предаваться удовольствиям. Это большой грех, я понимаю. Но если бы я осталась там, то совершила бы худший – потеряла веру в Бога.

– Стало быть, вы сбежали из монастыря?

– Да.

– И что же вы собирались делать дальше?

– У меня были некоторые ценные вещи, я продала их. На эти деньги, а при нужде работая (я ведь могу быть гувернанткой в приличном семействе – не хуже каких-нибудь мамзелей и мисс), я рассчитывала добраться до Европы.

– А там?

– А там – как Бог управит.

– Однако, это весьма неосторожно путешествовать одной. Вы еще достаточно молоды, можно с легкостью попасть в историю.

– Волков бояться – в лес не ходить.

– Вы храбрая женщина, – чуть улыбнулся «граф», откинувшись на подушки. – Думаю, вы правы, мы с вами можем пригодиться друг другу. Свою историю я расскажу вам как-нибудь позже. На данный момент будет достаточно следующего. Зовут меня Виктором Илларионовичем. Я дворянин и офицер, но в настоящий момент из-за козней моих врагов – беглый преступник, скрывающийся под чужими именами. Вы можете верить моему слову, что никакого проступка я не совершил, и честь моя не запятнана. Рано или поздно, это будет признано всеми. Я еду за границу на неопределенный срок с целью укрепить свое положение так, чтобы, вернувшись на Родину, восстановить справедливость. Я не знаю, что ждет меня. Соответственно, не знаю, что ждет вас, если вы решитесь остаться со мной. Возможно, нам придется преступать закон, но в одном могу вас уверить – я никогда не допущу, чтобы что-либо запятнало моей и вашей чести.

– Для начала мне этого довольно, – кивнула бывшая монахиня.

– В таком случае, вам нужны будут документы. И лучше если они будут на мою фамилию, дабы мы могли путешествовать, как брат и сестра. Кстати, как ваше настоящее имя?

– Евгения Дмитриевна – мое настоящее имя. Я лишь присвоила себе княжеский титул. Можете звать меня Эжени.

– Очень хорошо. Между прочим, это хорошо, что вы владеете многими языками. Я не столь талантлив, поэтому мне весьма пригодятся ваши уроки.

– Я в вашем распоряжении, сударь, – отозвалась Эжени, чуть наклонив голову.

Глядя на нее, Виктор подумал, что с этой бывшей черничкой следует держать ухо востро. Он не сомневался, что проявленные и заявленные ею таланты – это еще далеко не предел ее исключительных способностей. Кто знает, как решит она воспользоваться ими? Женщина, у которой в одних только глазах сосредоточено столько неведомой силы, может быть способна на многое. И вовсе неважно, что говорит при этом ее глубокий, бархатный голос, который, черт побери, так приятно слушать...

## Глава 1.

Осень 1825 года выдалась теплой и сырой. В такую погоду было приятно распротиться с промозглой петровской столицей и вдохнуть неизменно здоровый воздух Москвы. Впрочем, отнюдь не от промозглости климата бежал полковник Стратонов, но от промозглости собственной жизни, которая вне военных действий становилась для него сущей каторгой.

Судьба не баловала Юрия с первых лет его жизни. Сперва родами скончалась мать, а несколькими годами позже не стало и отца. Отец всю жизнь провел в походах, сражаясь под началом великого Суворова, имя которого озаряло все детство Юрия. Бывая дома, отец любил, пропустив стаканчик вина и расположившись у печи в старом кресле, курить трубку и рассказывать замершему у его ног сыну об Измаиле и Очакове, об Италийском походе – последнем чуде великого полководца. Юрий слушал, широко раскрыв глаза и затаив дыхание. Он уже тогда старательно подражал своему кумиру, укрепляя от природы не богатырское тело закаливанием. После смерти матери кончина Суворова стала для него самым большим горем – ведь он так хотел успеть сразиться с неприятелем под его началом и, проявив героизм, удостоиться его похвалы. Увы, тому не суждено было сбыться...

Отец скончался от ран, полученных при Шенграбене, когда генерал Багратион совершил чудо подстать Суворову, умудрившись вырваться с немногочисленным отрядом из окружения, в котором он оказался, прикрывая отход основных сил Русской армии. Никто не верил, что при столь многократном превосходстве французского корпуса Мюрата Багратиону удастся вырваться. Его и его людей оставляли на верную гибель во имя спасения армии. А он спасся, прорвавшись с кровопролитными боями и не потеряв ни одного знамени, и нагнал основные силы, отошедшие на безопасные позиции.

Увы, старый полковник Стратонов получил слишком тяжкие раны. Он сумел добраться до дома и прожил еще несколько месяцев, а затем отошел ко Господу, благословив двух осиротевших сыновей, оставшихся без единой родной души и безо всяких средств к существованию. Незадолго до смерти отец написал письмо своему командиру и другу князю Багратиону, в котором просил не оставить попечением своих сыновей, особенно старшего, Юру, уже теперь жаждавшего служить Царю и Отечеству, не щадя живота.

Петр Иванович был не из тех людей, кто оставлял без внимания последние просьбы боевых товарищей, а потому прибыл к одру умирающего сам и пообещал, если на то будет Божья воля, сделать отроков Стратоновых образцовыми офицерами, достойными своего отца.

В тот горестный день Юрий впервые увидел этого человека, с которым позже оказалась крепко связана его судьба. Его сухопарая, энергичная фигура, смуглое, живое лицо, простая и в то же время сердечная речь – все это, помноженное на многочисленные рассказы о нем отца, не могло не расположить сердце мальчика к прославленному генералу.

Впоследствии Юрий узнал, что князь и сам рано остался сиротой и, не имея за душой ничего, не мог даже получить подобающего образования, и оттого с отроческих лет всю мудрость военного дела постигал на полях сражений. Это сходство судеб и память о покойном друге ответно расположило генерала к вверенному его попечению мальчику.

Князь Багратион не имел своего дома. Большую часть жизни он проводил на бивуаках, а в редкие перерывы между военными действиями останавливался у кого-нибудь из знакомых. Чаще всего, в доме бывшей фаворитки Императора Павла княгини Гагариной на Дворцовой набережной, где он снимал квартиру. Здесь Юрий несколько раз навещал его во время обучения в кадетском корпусе, и всегда был принимаем с исключительным радушием. Петр Иванович, за свою долгую службу несколько не поправивший своего бедственного состояния и

ведший аскетический образ жизни, бывал неизменно щедр к своим друзьям и просто подчиненным. Позже Денис Давыдов сказал о нем: «У него было все – для других, и ничего для себя».

По окончании корпуса Юрий поступил в распоряжение Багратиона, став младшим адъютантом генерала. Надо ли говорить, что к тому времени юноша боготворил князя Петра Ивановича, готов был следовать за ним всюду, а в случае нужды с радостью отдал бы за него жизнь.

В ту пору князя постигла опала. Поговаривали, будто недовольство Государя было вызвано симпатией, которую питала к герою его любимая сестра Екатерина Павловна, женщина глубокого ума и горячего темперамента, возглавлявшая при дворе «русскую» партию и резко выступавшая против неумеренного западничества, поразившего тогда все высшее общество. Командуя некоторое время Царскосельским гарнизоном, Петр Иванович находился в большой дружбе как с Великой Княжной, так и с ее Августейшей матушкой. Видимо, эти отношения и не понравились Императору, поспешившему отослать генерала в Молдавию с требованием в считанные месяцы разгромить турок и завершить годами тлеющую войну.

Задача была не из легких. Для решающего разгрома природа просто не отпустила русским войскам времени, зима вынудила армию отойти назад за Дунай под угрозой гибели от холода, голода и болезней. Землянки, вырытые в глинистой почве, не спасали от мороза и сырости, а доставка провизии по размытым дождями путям сделалась практически невозможной. Лошади и люди массово гибли.

Есть полководцы, для которых имеет важность лишь победа, собственная слава и то, как выглядят они в глазах Государя. Во имя этого они не думают о жертвах, зная наперед, что Император простит любые жертвы, лишь бы его повеление было исполнено. Князь Багратион также знал это. И отнюдь не был лишен честолюбия, даже наоборот. Вслед за Суворовым он проповедовал тактику наступления, но вслед за ним же – любил и жалел солдата. И даже тех несчастных лошадей, что гибли, пытаясь доставить армии провиант. Эта забота о живой силе заставила его пойти против воли Государя и добиться разрешения вернуться за Дунай, чтобы после зимовки открыть новую кампанию.

Армия вернулась на зимние квартиры, но какой ценой далось это Петру Ивановичу! В столичных гостиных со слов проезжего француза его обвиняли чуть ли ни в трусости. Это не могло не приводить в бешенство вспыльчивого князя. Все же, стерпев оскорбления, он навел порядок в тылу и разработал план управления краем, проявив недюжинные административные таланты, коих мало кто мог ожидать от генерала, которого даже друзья склонны были упрекать в недостатке учености. Разработан был также и детальный план новой кампании, которая неминуемо должна была окончиться викторией.

Но Государь не позволил строптивому полководцу умножить свою славу и накануне открытия кампании отстранил его от должности, заменив молодым генералом Каменским, который не ставил подчиненных ему людей ни во что, зато свято исполнял монаршую волю...

Тогда же был отвергнут и еще один разработанный Багратионом план – войны с Наполеоном. Князь Петр Иванович совершенно точно предугадал действия французов и определил, как всего успешнее противостоять им. Однако, его доклад был оставлен безо всякого внимания. Вспомнили о нем год спустя, когда Бонапарт вторгся в Россию ровно так, как предсказывал Багратион?.. Наверяд ли, ибо и в дальнейшем ни одно из его предложений не было услышано.

И, вот, месяц за месяцем откатывалась армия к древней столице. Накануне Бородинского сражения Петр Иванович, как всегда, внимательно изучал позиции, разговаривал с солдатами, ободряя их. Увидев в штабе уснувшего после тяжелого дня адъютанта, он шепотом сказал офицерам:

– Тише, господа, не разбудите его. Ему нужно отдохнуть.

Кажется, лишь самому ему не нужен был отдых. Той ночью Юрий долго оставался при нем, когда прочие офицеры разошлись.

– Знаете, Стратонов, – сказал князь, – вы очень напоминаете мне самого себя лет тридцать назад. Уверен, вас ждет большое будущее, и вы не раз прославите матушку-Россию на полях сражений. Ваш отец гордился бы вами. А я гордился бы, имея такого сына.

Это неожиданное признание поразило Юрия. Он вдруг впервые понял, сколь одинок этот всеми чествуемый герой. Он был обожаем солдатами, окружен людьми, почитавшими его, но были ли у него близкие друзья? Он был женат, но жена давно оставила его и жила за границей. Ни семьи, ни дома, ни клочка земли – у него не было абсолютно ничего. И свои последние дни суждено ему было провести в чужом доме в окружении неуклюжих эскулапов, сумевших пустяшную рану запустить так, что через два месяца мук она свела в могилу лучшего полководца России. Никто не вспомнил о нем, не проявил участия. Государь не наградил его за Бородинское сражение, а лишь послал денег на лечение, однако, узнав о кончине генерала, приказал вернуть их назад. . . Свой последний приют князь Багратион обрел также в чужом склепе. После него осталось лишь четыре небольших портрета, которые всегда он возил с собой: Суворова, императрицы Марии Павловны, великой княжны Екатерины Павловны и жены. . .

Мог ли подумать в тот последний вечер Юрий Стратонов, что его собственная судьба с каждым годом будет все более схожа с судьбой его благодетеля, утрата которого стала для него сильнейшим ударом, чем смерть родного отца. . .

Кампания 1812-го года и Заграничный поход вывели Юрия в число наиболее перспективных молодых офицеров. Он бодро поднимался по служебной лестнице, отличился во многих боях, в том числе, в самом кровопролитном Лейпцигском сражении, был неоднократно награжден командованием и овеян славой в кругу товарищей. Ему подчас и самому не верилось, что в одном из жарких дел сумел в одиночку защищать позицию от напавших французов. То был узкий мост над рекой, и именно узость его обеспечила Стратонову выигрышное положение – неприятель не мог атаковать его разом, французы нападали по двое-трое, и получали сокрушительные удары стратоновской сабли. Эта беспримерная сеча продолжалась добрый час – Юрий давал возможность двум своим товарищам добраться до штаба и предупредить о надвигающихся силах французов, замеченных во время очередного разъезда. Разъезд был замечен французским патрулем, и с ним-то сошелся Стратонов в отчаянной схватке. К приходу подмоги он был жестоко изранен, но враг так и не прорвался через мост.

По окончании войны рассказы об этом и других лихих делах привлекли к молодому офицеру внимание в обеих столицах. Особенно среди дам, которые бросали на статного героя, мужественное лицо которого не уродовал, а лишь украшал небольшой шрам на левой щеке, весьма заинтересованные взгляды. Из них лишь один роковым образом попал в его доселе не знавшее страсти сердце. . .

Ей было восемнадцать лет. Она была невероятно хороша собой. Какой-нибудь французский писатель непременно сумел бы с достойной пространностью и поэтичностью распространиться и о жемчужной белизне ее плеч, и о лебединой стройности шеи, и о кораллах губ, и о золоте волос, и о бирюзе чарующих глаз. . . Но простой солдат, каким в душе был Стратонов, не ведал французской литературы и был весьма далек от поэзии, поэтому, если бы он и пожелал выразить в словах впечатление, произведенное на него юной мадемуазель Апраксиной, у него ничего не вышло бы. Впрочем, в тот первый раз ни губ, ни волос, ни шеи он и не заметил. В вихре бала его как две стрелы пронзили – глаза.

Никогда в жизни не робел он так, как в тот миг, когда отважился пригласить ее на мазурку, которую танцевал гораздо хуже, нежели владел саблей. Ее звали Екатерина. . . Катрин. . . Катюша. . . Именно так, по-русски, ему хотелось звать ее, но простонародное обращение раздражало девушку.

Она происходила из побочной ветви знатного рода, окончила Смольный институт и была принята в число фрейлин молодой Императрицы. Ее окружало множество поклонников, но

ни один не сделал самой прекрасной женщине Петербурга предложения, ибо у нее был один серьезный недостаток – Катрин была бесприданницей.

Ее трудное положение глубоко тронуло Стратонова, и он решился на атаку, ничуть не смущаясь дружескими предупреждениями товарищей, утверждавших, что под ангельской личиной кроется бездушная кокетка, не стоящая любви благородного человека. Юрий не мог верить подобным наветам, он был влюблен, а влюбленность глуха к голосу рассудка...

Сперва они встречались в Царскосельском саду, куда на лето перебирался Двор, и во время этих прогулок Катрин много рассказывала ему о себе, а он молчал, боясь сказать что-нибудь не то. Доселе ему никогда не приходилось вести бесед с дамами. Тем более, такими... Он не ведал книг, о которых она говорила, не мог потешить ее слуха если не своим, то хоть чужим стихом. Он чувствовал себя подле нее грубым и неотесанным солдафоном, которого невозможно полюбить такой женщине. Она, впрочем, выказывала ему явную приязнь, и однажды Юрий решился:

– Мадемуазель Катрин, я давно хотел сказать вам... Если бы я имел громкий титул, две тысячи душ, дом, выезд, ложу в театре... Если бы я мог все это бросить к вашим ногам, Катрин, я осмелился бы вам сказать, что люблю вас!..

Он не успел закончить, так как она поднесла палец к его губам с легкой улыбкой:

– Разве для того, чтобы говорить о любви, нужно так много?

Стратонов пылко сжал ее ладони:

– Катрин, умоляю, не мучьте меня дольше! Вы знаете все! Сейчас я ничего не могу дать вам, но когда-нибудь все изменится. Клянусь вам, что сделаю для вас все! Скажите лишь, могу ли я надеяться? А если нет, то я завтра же буду ходатайствовать о переводе меня на Кавказ.

– Вы хотите, чтобы я стала вашей женой? – последовал тихий вопрос.

– Больше, чем всех викторий на свете!

– В таком случае, вам не нужно уезжать на Кавказ.

– Значит ли это, что вы согласны? Умоляю, Катрин, не шутите!

Он не мог надеяться, что она согласится, и был едва ли не безумен от счастья. Это счастье продолжалась ровно год, пока он, как мальчишка, с ненасытной жадностью упивался этой женщиной, не замечая ничего вокруг. Теперь и вспомнить было стыдно о своей тогдашней наивности.

У них появился дом. Вернее, большая квартира, занимавшая целый этаж. Катрин обставила ее с большим вкусом. Ничто так не радовало ее, как новое платье, украшение, поездки в театр и балы. А ведь все это стоило немалых денег! Кроме того, мадам Стратонова стала собирать у себя многочисленных друзей. Вокруг нее постоянно вертелись молодые и не очень господа, расточавшие ей любезности, что вызывало в душе новоиспеченного мужа жгучую ревность. Через год Юрий, никогда дотеле не одалживавшийся, имел такое количество долгов, что вынужден был вернуться к действительности от затянувшихся грез и объясниться с женой:

– Катрин, я понимаю, что это огорчит вас, но мы не можем больше позволить себе так жить. Мы должны сократить все наши расходы и перейти к строгой экономии.

– Вот как? – вскинула подбородок Катрин. – А не вы ли, сударь, обещали сделать для меня все?

– Я так же честно признавался вам, что в настоящий момент ничего не могу дать вам. Совесть моя чиста – я ни в чем не обманул вас.

– Что же вы предлагаете? – холодно осведомилась жена. – Я придворная дама, и должна жить достойно. Я не могу носить старых платьев и жить в каком-нибудь... чулане!

– Значит, мадам, вам придется отказаться от обязанностей придворной дамы.

– Что?!

– Они, безусловно, важны. Но у вас есть и другие обязанности – моей жены.

– Вы осмелитесь утверждать, что я плохо их исполняю?

В тоне Катрин послышался вызов, и Юрий смутился.

– Мне кажется, что всего лучше было бы, если бы у нас появился ребенок. Вы бы поехали с ним в вашу Клюквинку... Я бы испросил отпуск и на время присоединился к вам, чтобы навести в ней порядок. Я знаю, это имение весьма невелико, но при рачительном ведении хозяйства оно могло бы приносить кое-какой доход.

Катрин слушала его со смесью изумления и возмущения:

– А вы не забыли, сударь, что Клюквинка принадлежит моему брату?

– Насколько я помню, она принадлежит вам обоим, и ваш брат там не появляется.

– Стало быть, вы хотите услатить меня в деревню? – недобро усмехнулась Катрин.

– Я не хочу, чтобы мы были разорены, только и всего.

– Тогда потрудитесь найти для этого иной способ! – зло бросила жена. – А не делать меня жертвой ваших неудач! Или я сама устрою свои дела – без вашей помощи!

Он слишком поздно понял, для чего она согласилась на брак с ним. Всего лишь, чтобы обеспечить себе положение. Незамужняя девица обречена на прозябание, любая неосторожность с ее стороны влечет осуждение и презрение к ней. Женщина, защищенная таинством брака, куда более свободна в своих поступках... Более того, ее скорее осудят за единственный, невольный проступок, за случай, но примирятся с беспрерывно дующимся преступлением, если оно прикрыто вуалью соблюдения светских приличий, и если преступница умеет завоевать к себе расположение.

Довольно вспомнить историю графини Потоцкой и ее дочерей. Когда-то секретарь польского посольства Боскамп приметил в одном из константинопольских трактиров служанку-гречанку лет тринадцати и взял ее к себе. Через несколько месяцев он уступил своему коллеге Деболи, с которым распустившаяся роза приехала в Варшаву, где изумила всех своей красотой. Красавица стала жить свободно, ее счастливым, щедрым обожателям не было числа. Наконец, один из них – пожилой генерал граф Витт женился на ней. Вскоре после этого графиню Софью Витт встретил князь Потемкин, который мужа назначил обер-комендантом в Херсон, а жену увез с собой в Яссы. Своей любовницей этот великий человек, не лишенный больших слабостей, щеголял, как великолепным трофеем и даже повез ее напоказ в Петербург, где возил ее с собою в открытом кабриолете по улицам и гуляньям.

Через несколько лет после смерти Потемкина в жену графа Витта влюбились польский коронный гетман, граф Станислав-Феликс Потоцкий и его старший сын от первого брака Феликс. По условию с сыном, Софья предпочла отца и, выйдя за него, предалась в объятья сына. От этого кровосмешения родилось три сына и две дочери. Наконец, старик-гетман узнал правду. Вскоре затем внезапно скончался Феликс, а вслед за ним и сам граф Станислав.

Возникли слухи об отравлении, и пасынки и падчерицы графини Потоцкой повели против нее процесс, оспаривая законность ее брака и законное рождение ее детей, ибо Витт был еще жив и не разведен с нею, когда она вступила во второй брак. Софья отправилась в столицу, вооружившись лестью, золотом и... младшей красавицей-дочерью Ольгой. Сия последняя произвела неизгладимое впечатление на графа Милорадовича. Она нередко посещала его, просиживала с ним наедине по часу в его кабинете и принимала от него великолепные подарки...

Естественно, дело кончилось в пользу преступной графини. Ее старшая дочь Софья вышла замуж за начальника штаба второй армии, Павла Киселева, а младшая Ольга за двоюродного брата графа Воронцова Льва Нарышкина. Еще прежде своего замужества Ольга, приехав погостить к сестре, быстро соблазнила ее мужа – этот скандал наделал большой шум в главной квартире...

Да что Потоцкие! Жена князя Багратиона, живя за границей, имела самые тесные отношения с Меттернихом, от которого родила дочь, а после победы над Наполеоном посетить ее салон не побрезговал даже сам Государь, очарованный красавицей-вдовой...

Порок всегда найдет себе защиту и покровительство скорее, нежели добродетель. Вскоре салон г-жи Стратоновой приобрел большую популярность в Петербурге. В нем нередко бывал губернатор Милорадович и иные высокопоставленные лица. Нужные связи обеспечили Катрин неограниченный кредит...

Всего гнуснее в создавшемся положении было то, что Юрий, имевший все основания подозревать жену в супружеской неверности, не имел сколь-либо серьезных улик против кого бы то ни было, и это лишало его возможности прибегнуть к единственному достойному выходу – дуэли. Катрин вела себя исключительно осторожно и хитро, как все бестии, руководимые не страстью, которая в некоторых случаях, по крайности, может вызывать сочувствие, а корыстью, холодным и жестоким расчетом.

Другой болью был сын, с младенчества обреченный жить в беспутной среде, отравляясь ее ядом. Сын... Никому на свете не признался бы Юрий в том, что всякий раз, когда видел он этого прекрасного, как херувимчик, ребенка, душа его горько страдала от самых мучительных подозрений – да его ли это сын? С болезненной внимательностью вглядывался Стратонов в младенческие черты в надежде отыскать в них сходство с собой. Напрасно! Серезинька был копией красавицы-матери... Отравленный подозрениями и в то же время стыдившийся их, Юрий старался как можно реже видеть сына.

Это было несложно, ибо, не желая терпеть позор, он разъехался с женой, сняв крохотную квартирку на окраине города. Скромный образ жизни позволил ему постепенно рассчитаться с долгами, но легче от этого не стало. Юрий жаждал новой войны – где бы и с кем бы ни случилась она, но после наполеоновских баталий народы как назло устали, и воцарился мир. Правда, греки восстали было против турецкого владычества, и многие надеялись, что русский Самодержец поможет единоверцам в праведной борьбе, следуя заветам своей великой бабки. Все оживилось в ожидании грядущей кампании! Но, увы, Государь не счел за благо вмешиваться. Тем более, что данные разведки, предоставленные полковником Пестелем, не сулили успеха восстанию.

При этом армия едва не была послана на дело куда более сомнительное – на подавление пьемонтского восстания. Это предприятие, впрочем, не прельщало Стратонова, решительно не понимавшего, почему пьемонтцы должны быть покорны чуждому для них австрийскому владычеству, и почему Россия должна помогать никогда не бывшей дружественной к ней империи в подавлении захваченного ею народа. На оное Государь собирался послать генерала Ермолова, но тот, прознав об этом, укрылся в Варшаве у Великого Князя Константина Павловича, с которым был в дружбе. По счастью, с Пьемонтом разобрались без участия Русской армии.

Стратонов не раз подавал рапорт с просьбой отправить его на Кавказ, но оный оставался без удовлетворения... И, вот, теперь, взяв двухмесячный отпуск «для поправки здоровья», уставший и опустошенный, он въезжал в Москву.

Москва! Даже после пожара не утратила она своей радушной, странноприимной запахнутости навстречу каждому, своей теплоты и сердечности. Что был Петербург? Затянутый в мундир чиновник, следующий заведенному порядку – живая табель о рангах. Беспечная Москва, хотя и перенимала европейские веяния, но оставалась неизменно русской.

Вот, замаячила впереди церковь Вознесения Господня, в которой был крещен Юрий. Велев кучеру остановиться, он зашел внутрь и поставил свечку к образу великомученика Георгия. В эту церковь его некогда водила мать, женщина кроткая и богомольная. Кто знает, если бы не вера, которую успела она вложить в его детскую душу, был бы жив Стратонов теперь? Наверяд ли... Не раз за эти промозглые годы падал взгляд на пистолет, как самое простое разрешение всех затруднений. Но словно обжигал грудь образок, повешенный на шею материю.

Посещение родительских могил Юрий отложил до следующего дня и оправился прямоком на Большую Никитскую, где в уютном двухэтажном доме жило дружное семейство Никольских.

Никольские приходились дальней родней матери Стратонова, и именно в их доме прошли его детские годы. Здесь скончались мать и отец, сюда заезжал князь Петр Иванович, здесь до определения в корпус рос младший брат Костя... Дом Никольских славился странноприимностью и хлебосольством. В нем, по старинному московскому обычаю, живало до дюжины девиц-бесприданниц, коим старая барыня подыскивала достойные партии. Между московскими барынями то было своего рода состязание: какая из них лучше пристроит своих протеже. Засидевшиеся в девках бесприданницы оставались доживать свой век в приютивших их домах на правах бедных родственниц. Основными их занятиями были рукоделие и богомолье. С утра кочевали они из церкви в церковь, из монастыря в монастырь, и знали всех батюшек, матушек и юродивых белокаменной...

С уходом в мир иной старшего поколения Никольских обычай ничуть не изменился. Никита Васильевич Никольский, друг детских лет Стратонова, служил в московском архиве и серьезно занимался науками, ничуть, по-видимому, не стремясь к карьерному росту. Между тем его сочинения, посвященные экономике, образованию и иным предметам, имели хождение и большой успех среди людей просвещенных. Благодаря им, Никольский стал запросто вхож в дом Карамзиных. Старый историк, почитаемый Никитой своим заочным учителем, принимал его, как родного сына.

Повезло Никольскому и с женой. Он женился двадцати восьми лет по взаимной любви на девушке из неименитой, но достойной фамилии. Варвара Григорьевна была весьма хороша собой. То была подлинно русская красота, которой, по мнению иных, недоставало аристократизма в его европейском понимании. Слишком пышущая здоровьем, румяная, дебелая, улыбающаяся не натянуто, потому что так положено, а от избытка природной сердечности и веселости – в этой замечательной женщине было столько жизни и любви, столько простоты и в то же время чувства собственного достоинства, что можно было лишь завидовать мужу, отыскивавшего такую цельную, здоровую натуру.

В их семье подрастало уже трое детей, и все в этом доме дышало гармонией. Именно поэтому так рвался сюда Стратонов, ища видом чужого счастья хоть немного утешить собственное горе.

Никита в видавшем виды стеганом шлафроке нараспашку выскочил на крыльцо. Невысокий, чуть полноватый, с вьющимися волосами, вечно поправляющий съезжающие с пуговицы-носа очки, он выглядел в этот момент довольно комично.

– Юрка, дружище! – огласил улицу радостный крик. – Наконец-то вижу тебя, душа моя! Юрий улыбнулся и церемонно поклонился показавшейся позади хозяйке.

– А мы уж вас ждали-ждали, Юрий Александрович! – мелодично пропела она, озаряя гостя ласковой улыбкой.

– Ждали, ждали! – рассмеялся Никита, обнимая его. – Признаться, уже думал сам к тебе прокатиться. Ну, идем, герой – комната твоя убрана и тебя дожидается. Ужин также. Ей-Богу, душа моя, явись ты позже, и я бы не удержался – аппетит у меня волчий разыгрывается, когда чего-то жду.

За ужином говорили мало. Варвара Григорьевна представила Стратонову младших членов их множившейся фамилии, настоятельно потребовав, чтобы он был крестным их следующему чаду. Всегда чуткая и тактичная, она, едва с трапезой было покончено, удалилась к себе, дав мужчинам возможность поговорить без церемоний.

Пригласив друга в гостиную, Никольский раскурлил трубку и, внимательно взглянув на него, осторожно спросил:

– Я не справлялся в письмах, а ты не писал... Что Екатерина Афанасьевна? Все так же? Стратонов, расположившийся в кресле у печи, повел плечом:

– Как же еще она может быть.

– Однако же...

– Прошу тебя, не будем обсуждать Катрин! Черт побери, если бы десять лет назад мне, герою Бородина и Лейпцига, какая-нибудь образцовая каналья посмела предсказать, что я буду влачить подобное существование, я бы тотчас потребовал сатисфакции и пристрелил бы подлеца! Если бы только я мог добиться перевода на Кавказ – подальше от Петербурга!.. Так и в этом отказано мне! Хоть впору уходить в отставку... Да куда? Что у меня есть, кроме этого мундира? Когда бы у меня было хоть самое чахлое имение, иное дело. Я бы поселился там, стал бы попивать настойку, латать чулки и браниться с крестьянами...

– Полно, – прервал Никита. – Ты, друг мой, не создан для подобной жизни. Ты бы погиб в подобном положении.

– А что я делаю сейчас?

– Отчего Государь не удовлетворит твоего ходатайства?

– Государь меня не любит. Как не любит всех тех, в ком видит излишек самостоятельности, кто в иные лета, быть может, слишком громко выражал недовольствие его распоряжениями по армии. Вон и Денис Васильичу хода не дают – а уж воин, каких поискать!

– Денис Васильичу его виршей Государь забыть не может, тут дело ясное. В сущности, все это мелочность недостойная вождя великого государства, Царя русского. Впрочем, в tomto и беда, что Царь наш – не русский в существе своем. Также и все окружающие его. Великая ошибка матушки Екатерины, из немок душой переродившейся в русскую, отдать внуков на воспитание иностранцам. Так и повелось. Сначала Лагарп, потом того хуже – Штейн! Так и пошло-поехало! Либеральщина и устремление в хвост Европе... Когда бы наш Государь больше заботился о делах внутренних, а не пленялся мнимой славой благоустроителя Европы, разъезжая по конгрессам вместо того, чтобы познавать собственную страну!.. Увы, он всегда стремился быть большим европейцем, чем они сами. И сам воспитал плеяду наших вольнодумцев, столь раздраженных теперь супротив него. Годами он разжигал их вожделения, суля конституцию, парламент и прочую чепуху. Вместо этого дал нам аракчеевщину. Теперь они разочарованы, и это понятно. В сущности, наш Государь вел себя, как беспечная кокотка, обещавшаяся многим, а затем показавшая всем от ворот поворот с самым невинным видом.

– Ты, Никита, антиправительственные речи говоришь, – усмехнулся Стратонов. – Не знай я твоей приверженности самодержавию, остерегся бы.

– Чего?

– В столице вирши ходят, будто бы бывшим поручиком Рылеевым писанные: «Царь наш – немец русский...»

– Слышал такие. Настроения этакие мне тревогу внушают, но того большее, что ведь крыть-то наших смутьянов в этих статьях нечем оказывается! Правительство наше лишено русского чувства. Оно не понимает России и русского народа. И не хочет понимать! Мало того, лица, призванные к тому или иному делу, вовсе дела оно не знают – словно нарочно назначают их так, чтобы хуже все запутывать. А в итоге что? Подрыв авторитета власти, институтов ее, тасуемых по произволу невежами кой год! А всякой смуте того вперед и надобно! Тут-то и почва благодатная для ее созревания! Уже измышлять смутьянам не надобно ничего – а лишь раздуть посильнее то, что есть, да маленько идеями вздорными приправить, да подбить темную массу звонкими криками. От такой путаницы революция французская родилась. Путаница – отличная повитуха для смут... И, знаешь, Юра, что мне иной раз кажется? Что есть направляющая сила, которая обе стороны, противоположные друг другу как будто, толкает к единой цели. И от того тревожно у меня на душе.

Стратонов был не силен в политике, поэтому неясные тревоги друга казались ему отчасти плодом воображения последнего. Впрочем, в том, что касалось безоглядного следования Государя европейским веяниям, он был совершенно согласен. Чего только стоило засилье немцев и прочих иностранцев на высших армейских должностях! Чего стоил участник убийства Императора Павла Беннигсен, сколотивший, как говорили, состояние на русской службе, но

так и не принявший русского подданства. Для этого человека русский солдат всегда ни во что не ценился. И еще отец, пылая гневом, рассказывал, как бездарно было погублено много тысяч русских жизней при Прейсиш-Эйлау из-за неумелого руководства главнокомандующего Беннигсена. В той злосчастной кампании честь русского оружия спасена была князем Багратионом, который со своей армией вновь прикрывал отход основных сил, демонстрируя чудеса выдержки, военного искусства и отваги. То, что сделал арьергард в той кровавой каше, было, по признанию многих, выше человеческих сил...

На судьбе Беннигсена эта несчастная кампания, впрочем, никак не отразилась. При Бородине он был начальником штаба Кутузова и умудрился так наметить линию обороны Второй армии, что одна из позиций ее – Шевардинский редут – образовал изрядный выступ, который был обречен немедленному уничтожению при первой же атаке неприятеля. Князь Петр Иванович заметил эту ошибку и добился разрешения перенести позиции назад – там расположились легендарные флеши. Но Кутузов, не чуждый царедворской хитрости, не стал чинить обиду царскому любимцу, и позицию, намеченную Беннигсеном, оставил также. Все бывшие на ней солдаты и офицеры – семь тысяч человек – были безо всякой пользы уничтожены при первой же атаке...

Европейский же поход и вовсе до сих пор занозил душу Стратонова. По смерти Кутузова и минованию опасности иностранцы снова стали играть первые роли в русской армии. Хуже того, армия-победительница пренебрегла своим именем, влившись в объединенное союзническое войско. Войско это было разделено на четыре армии – Богемскую (Главную) фельдмаршала Шварценберга, Силезскую прусского генерала Блюхера, Северную шведского кронпринца Карла-Юхана (Бернадота) и Польскую (резервную) Беннигсена. Русская армия как будто перестала существовать вовсе в то время как все «иностранцы» армии комплектовались, в основном, русскими солдатами.

А как не вспомнить щедрый жест Императора, пославшего два миллиона жителей Ватерлоо на восстановление их разоренных жилищ. Бородинским и многим другим русским крестьянам из казны не было отпущено ни гроша. Ведь миру не было дела до русских крестьян, и никто бы не заметил царского к ним благодеяния, то ли дело Ватерлоо...

Русский крестьянин, вообще был немало обижен по окончании войны. Конечно, никто не обещал ему свободу официально, но неофициально сулили – вот, отобьем француза, и в благодарность освободит вас Царь-батюшка от зависимости. И, по совести, кто бы, совести этой не лишенный, сказал бы, что это несправедливо? Но, вот, отгремела война, и вышел Государев манифест: мол, Господь вознаградит русский народ. Бог подаст... А щедроты царские пролились на крестьян литовских, на вечно двоедушных и враждебных нам поляков.

Сокрушенно перебирая в памяти все эти огорчения, Стратонов в душе соглашался с каждым продиктованным болью за Отечество словом Никольского, но все-таки заметил сдержанно, словно собственное ретивое осаживая:

– Как офицер, присягнувший на верность Его Величеству, я не должен судить его...

– Ты прав. Правда, многие твои приятели относятся к своей присяге более... вольно, в духе времени, скажем так. Ты Михайлу Орлова давно видел?

– Весьма давно. Он ведь на юге...

– А мне пришлось. И видеть, и слышать. Вот уж, брат, готовый тебе Лафайет или что похуже!

– Помилуй Бог! Ты слишком всерьез воспринимаешь Орлова. Он хороший офицер, но записной демагог.

– Так с демагогии, мой дорогой друг, все и начинается. Попомни мое слово! Демагоги расшатывают основы, а затем приходят люди действия, обращающие слова в дело – причем так, как понимают их они, лишенные кругозора демагогов-философов – трибуналом и гильотиной.

Стратонов слушал Никольского несколько рассеянно. Долгая дорога утомила его, да и от выпитого вина разлилось по намерзшему телу приятное тепло. Не хотелось вовсе вести теперь мудреных, солдатскому уму не во всем ясных разговоров. А Никита разгорячился, заходил по комнате:

– Мало, мало у нас людей, понимающих серьезность положения России, корень ее неустойчивости, меры, ее оздоровлению действительно насущно потребные! Одни костенеют в убеждении, что все должно стоять незыблемо, и даже самое мерзкое устройство, самая возмутительная глупость. Другим вскружил головы призрак конституции! И какие головы! Не самые отнюдь скверные! Все это оболщание так называемой свободой – ничто иное, как раздражение нервов, горячка сердец, которые разум оказывается неспособен охладить и уравновесить. Разум помрачен возбуждением чувств – вот что. А из такого состояния ничего кроме беды выйти не может: будь то дела амурные, будь то политика.

Наконец, Никольский заметил, что друг с усталости слушает его невнимательно, и остановился:

– Что-то разошелся я. Прости, дружище. Тебе с дороги давно пора отдыхать, а я мучаю тебя своими бреднями, – он рассмеялся. – Идем. Варвара Григорьевна сама нынче следила, чтоб твою комнату и постелю, как должно, убрали. Небось, все подушки сосчитала, чтоб не обделили невзначай дорогого гостя!

Это умение мгновенно перевоплощаться из озабоченного, серьезного мыслителя в веселого, добродушного балагура всегда удивляло Стратонова и нравилось ему.

Уже взяв свечу, чтобы проводить гостя, Никита вновь посерьезнел:

– Еще два слова. Обещаю больше не спрашивать тебя о неприятном тебе предмете, но прошу вот, о чем: когда вернешься в столицу, нанеси оному предмету визит и передай, что мы с Варварой Григорьевной приглашаем в гости моего любимого крестника Петю.

Юрий хотел ответить, но Никольский поднял руку и закончил:

– Мой дорогой друг, ребенку нужно воспитание, нужно внимание. Ты не можешь воспитывать сына, а его мать, мне думается, не слишком желает обременять себя этим. У нас же растут свои ребяташки, да и многочисленные племянники и крестники гощевают постоянно. Ты сам и твой брат выросли в нашем доме, и прекрасно знаешь, что здесь ребенок всегда будет окружен заботой. Мы найдем хороших учителей, а не проходимцев и шаромыжников, как это любит делать наша фанфаронствующая знать. А когда твой сын подрастет, то в соответствии с его склонностями можно будет определить его в корпус по твоим стопам, либо продолжить домашнее образование для последующего поступления в университет. Нынешним пансионам я, признаться, не доверяю. Мне кажется, это хорошая идея!

Стратонов был глубоко тронут заботой друга и, обняв его, поблагодарил:

– Ты, Никита, лучший человек из всех, кого я знаю, говорю тебе это от души.

– Так ты согласен?

– Согласен и обязан тебе по гроб жизни. Только лучше тебе самому написать Катрин.

– Почему?

– Потому что все, что исходит от меня, будет принято ею в штыки. А мне бы не хотелось, чтобы добрая идея пропала лишь из-за неудачного посредничества.

– Тогда ей напишет Варвара Григорьевна, – решил Никита. – Она женщина и прирожденный дипломат, так что уж непременно найдет нужные слова.

– Спасибо вам обоим за все! – с чувством сказал Стратонов, вновь прижимая друга к груди.

– Полно, раздавишь! – рассмеялся Никольский. – Идем! Постель тебя заждалась.

Проводив друга в его комнату, Никита снова спустился в гостиную и, расположившись у массивного бюро, извлек из ящика папку с исписанными небрежным почерком листами.

Это были наброски его докладной записки на Высочайшее имя, над которой он корпел уже не первый месяц, но с каждым днем с отчаянием убеждался, что труд его напрасен. Он писал в нем о том, какие преобразования необходимы России, о просвещении, бывшем любимым коньком его, о необходимости развиваться из собственных истоков. Все это было прекрасно и правильно, но – кому он писал все это? Монарху, органически не способному воспринять этих идей, монарху, на котором сам он, Никольский, не без сокрушения поставил крест?

Никита помнил, какое ликование сопровождало весть о смерти Павла Петровича, успевшего восстановить против себя едва ли не все поголовно общество, и восшествие на престол «прекрасного юноши». На страстной седмице, когда всякой православной душе надлежало предаваться скорби и покаянию, православный народ, от дворянина до извозчика, веселился и поздравлял друг друга... Никольский помнил, что только в его доме перебивало в тот день до дюжины визитеров – счастливых, точно Светлый день уже настал.

Сам Никита не склонен был предаваться подобной бурной радости. Светлый лик юного Царя не обольщал его – с лика этого ведь не воду пить, а куда важней, что под ним. В душе, в голове что.

Любимый внук своей великой бабки, он обещал возвращение ее славных времен, обещал преобразования в просвещенном духе, обещал... Да что перечислять! Несколько лет зачарованно слушали эти обещания, пленясь обаянием венценосца, пока влюбленность в него не стала сменяться разочарованием и иронией, которой разочарованные влюбленные зачастую мстят объектам своего обожания.

Мог ли быть иным этот человек? Швейцарец Лагарп воспитывал его в идеалах европейского прогрессизма, утверждая свободу величайшим благом для людей, восхваляя Англию с ее конституцией и парламентом. Александр был весьма привязан к своему учителю и продолжал с ним переписку даже после того, как тот покинул Россию. Его идеи, почерпнутые у энциклопедистов, завладели умом юного Великого Князя. Мудрость его бабки могла отвергнуть их для России, когда сердце пленялось их велеречивой красотой. Она вела переписку с Вольтером и Дидеротом, зачитывалась Монтескье, но никогда не переносила их рецептов на русскую почву. Но то была Екатерина. Внук не имел ни широты ее ума, ни опыта, ни мудрых советников.

С самого первого дня на троне его окружили убийцы отца, тяжкую связь с которыми он не в силах был разорвать, и такие же неопытные, лишенные почвы, влюбленные в Англию юнцы, как он сам.

Двадцатидевятилетний Павел Строганов, единственный сын известного мецената, ребенком воспитывавшийся в Париже якобинцем Жильбером Роммом, застал кровавую революцию и... был восхищен ею. Перебравшись в Лондон, он встретил не менее восхитительную картину – парламент и декларируемые права и свободы. Юный Павел видел себя одним из прекрасных английский лордов и, надо сказать, лицом и манерами вполне мог сойти за оного. Это единственное достоинство дало ему должность товарища министра внутренних дел, чин тайного советника и звание сенатора в тридцать лет.

Его дальний родственник Николай Новосильцев, старший его годами и наделенный большим умом, имел, однако ту же страсть. Он был совершенно покорен Англией и ее-то ощущал своим подлинным отечеством. Как и Строганов, он стал ближайшим к Государю человеком и членом т.н. «негласного комитета», целью которого было помогать «фактической работе над реформой бесформенного здания управления империей».

Кроме этих двоих «помогали» также князь Кочубей и заядлый враг России Адам Чарторыйжский. Мать последнего за фанатичный патриотизм заслужила от поляков название «матки ойчизны». Сын ее от связи с польским наместником князем Репниным, будучи адъютантом Великого Князя Александра, умел искусно угодить ему. Молодой Царь искренне считал этого иуду своим другом и назначил его, ненавистника России, товарищем министра иностранных дел...

Таким-то «мужам разума и силы» предстояло реформировать все государственные институты. Коллегии перетасовывали в министерства, министерства сливали в департаменты. Отдельные должности заводили лишь для того, чтобы определить на них снимаемого с того или иного места сановника. Тех же, кому не досталось министерских портфелей, отправляли в Сенат.

Мозгом этой высокопоставленной, но бесталанной группы англоманов стал сын сельского священника, бывший студент духовной академии, несостоявшийся священник, лишенный как веры в Бога, так и какой-либо морали – Михаил Сперанский, коего представил Императору главный убийца его отца граф Пален.

Александр сделал молодого честолюбца своим статс-секретарем. Обладавший изощренным умом, Сперанский сразу нашел, чем расположить к себе монарха – предложил жаждущему реформ правителю разделить дела тогдашнего императорского совета на экспедиции и взял одну из них в свое управление.

Сперанский прекрасно понял, что имеет дело с людьми весьма пустыми и недалекими. Теща их самолюбие, он делал вид, что лишь облакает своим пером их идеи в достойную форму, а на деле составлял все проекты самостоятельно. В сущности, нужно было весьма мало, чтобы прослыть мудрецом в глазах его патронов. Так, учреждая министерства, он всего-навсего списал их проект с французского времен директории. И этого достало для того, чтобы стяжать себе славу преобразователя.

«Серый кардинал» «негласного комитета», Сперанский глубоко презирал вельмож, до которых невозможно ему было дотянуться титулом и которых так многократно превосходил он умом. Будь сей ум обращен к благой цели, он мог бы принести немало пользы. Но какова могла быть цель человека, не любящего своего отечества, своей веры, своего народа? Не говоря уже об аристократии и самодержавии. В лучшем случае, он служил лишь своему тщеславию. В худшем – разрушению того, что так претило ему...

В чем Сперанский следовал своим патронам, так это поклонению Англии. Он старательно придерживался английского образа жизни, женился на англичанке, дочери гувернантки в доме Шуваловых... Парадокс: если женитьба на русской простолюдинке считалась для всякого человека с положением бесчестьем, то женитьба на иностранных «мисс» и «мамзелях» позором не считалась, ибо все иностранное уже было освещено даже в отсутствии титула...

Дословное перенесение иностранных учреждений на русскую почву не ограничилось министерствами. Государь возымел желание довести до конца дело, начатое еще Алексеем Михайловичем – составлением полного собрания российских законов – для чего учредил новую Комиссию. Результат этого благого, как все прочие, начинания довольно язвительно разобрал в своей знаменитой «Записке о старой и новой России» Карамзин: «...набрали многих секретарей, редакторов, помощников, не сыскали только одного и самого необходимейшего человека, способного быть ее душою, изобресть лучший план, лучшие средства и привести оные в исполнение наилучшим образом. Более года мы ничего не слыхали о трудах сей Комиссии. Наконец, государь спросил у председателя и получил в ответ, что медленность необходима, – что Россия имела дотоле одни указы, а не законы, что велено переводить Кодекс Фридриха Великого. Сей ответ не давал большой надежды. Успех вещи зависит от ясного, истинного о ней понятия. Как? У нас нет законов, но только указы? Разве указы (edicta) не законы?.. И Россия не Пруссия: к чему послужит нам перевод Фридрихова Кодекса? Не худо знать его, но менее ли нужно знать и Юстинианов или датский единственно для общих сообщений, а не для путеводительства в нашем особенном законодательстве! Мы ждали года два. Начальник переменялся, выходит целый том работы предварительной, – смотрим и протираем себе глаза, ослепленные школьною пылью. Множество ученых слов и фраз, почерпнутых в книгах, ни одной мысли, почерпнутой в созерцании особенного гражданского характера России... Добрые соотечественники наши не могли ничего понять, кроме того, что голова авторов

в Луне, а не в Земле Русской, – и желали, чтобы сии умозрители или спустились к нам или не писали для нас законов. Опять новая декорация: видим законодательство в другой руке! Обещают скорый конец плаванью и верную пристань. Уже в Манифесте объявлено, что первая часть законов готова, что немедленно готовы будут и следующие. В самом деле, издаются две книжки под именем проекта Уложения. Что ж находим?.. Перевод Наполеонова Кодекса!

Какое изумление для россиян! Какая пища для злословия! Благодаря Всевышнего, мы еще не подпали железному скипетру сего завоевателя, – у нас еще не Вестфалия, не Итальянское Королевство, не Варшавское Герцогство, где Кодекс Наполеонов, со слезами переведенный, служит Уставом гражданским. Для того ли существует Россия, как сильное государство, около тысячи лет? Для того ли около ста лет трудимся над сочинением своего полного Уложения, чтобы торжественно пред лицом Европы признаться глупцами и подсунуть седую нашу голову под книжку, слепленную в Париже 6-ю или 7-ю экс-адвокатами и экс-якобинцами? Петр Великий любил иностранное, однако же не велел, без всяких дальних околичностей, взять, например, шведские законы и назвать их русскими, ибо ведал, что законы народа должны быть извлечены из его собственных понятий, нравов, обыкновений, местных обстоятельств. Мы имели бы уже 9 Уложений, если бы надлежало только переводить. Правда, благоразумные авторы сего проекта иногда чувствуют невозможность писать для россиян то, что писано во французском подлиннике, и, дошедши в переводе до главы о супружестве, о разводе, обращаются от Наполеона к Кормчей книге; но везде видно, что они шьют нам кафтан по чужой мерке. Кстати ли начинать, например, русское Уложение главою о правах гражданских, коих, в истинном смысле, не бывало и нет в России?

Я слышал мнение людей неглупых: они думают, что в сих двух изданных книжках предполагается только содержание будущего Кодекса, с означением некоторых мыслей. Я не хотел выводить их из заблуждения и доказывать, что это – самый Кодекс: они не скоро бы мне поверили. Так сия наполеоновская форма законов чужда для понятия русских. Есть даже вещи смешные в проекте, например: «Младенец, рожденный мертвым, не наследует». Если законодатель будет говорить подобные истины, то наполнит оными сто, тысячу книг.

Оставляя все другое, спросим: время ли теперь предлагать россиянам законы французские, хотя бы оные и могли быть удобно применены к нашему гражданственному состоянию? Мы все, все любящие Россию, государя, ее славу, благоденствие, так ненавидим сей народ, обогранный кровью Европы, осыпанный прахом столь многих держав разрушенных, и, в то время, когда имя Наполеона приводит сердца в содрогание, мы положим его Кодекс на святой алтарь Отечества?»

Увы, ничего иного не могли создать люди, души которых принадлежали чужим отечествам. С петровских времен пагубное преклонение перед всем иностранным во времена александровых достигло своего апогея. Любой заезжий проходимец считался в родовитых русских фамилиях достойным стать воспитателем их чад. Выходило из подобного воспитания зачастую сущее бедствие. Всякий мелкий иностранный дворянчик мог претендовать на прекрасную партию, ибо в глазах русских вельмож его титул имел значение, равное старинным русским родам. Иностранцы, принимаемые на службу, имели подчас исключительные привилегии. Чего стоила хотя бы история знаменитого Бетанкура!

Этот человек был искусным механиком и в родной Испании проложил множество дорог, построил мосты, вырыл каналы... Когда Наполеон стал прибирать его родину под свою тяжелую руку, Бетанкур по приглашению русского посла Муравьева-Апостола прибыл в Петербург. Ему было назначено жалование в двадцать четыре тысячи рублей ассигнациями – огромная сумма. Однако видя неустойчивость курса бумажных денег, испанец добился, чтобы жалование ему повысили до шестидесяти тысяч рублей. Этого было мало, и он потребовал себе русский чин и сделался генерал-майором. Мало оказалось и этого: Бетанкур считал, что, имея в своем отечестве должность, равную министерской, имеет право на такую же и в России. Его

произвели в генерал-лейтенанты. Пожалованную ему Аннинскую ленту строптивый иностранец отослал назад, заявив, что ему, кавалеру св. Иакова Компостельского, неприлично принять орден ниже его. Государь прислал ему Александровскую ленту.

Дабы впредь иметь своих инженеров, учрежден был институт инженеров путей сообщения. Бетанкур сделался его главным начальником, а место директора потребовал предоставить своему другу французу Сенноверу. Этот человек, будучи родовитым дворянином и капитаном королевской армии, изменил долгу, перейдя на сторону якобинцев. Он был ближайшим другом Марата и после убийства последнего, опасаясь нараставшей волны террора, бежал из Франции. Россия, разумеется, не отказала в приюте сему «благородному человеку», как не отказала и брату все того же Марата, доверив ему воспитание своего юношества в Царскосельском лицее. Сенновер несколько лет зарабатывал на жизнь торговлей французским табаком. Чтобы сделать его директором института, русское правительство пожаловало ему чин генерал-майора.

Бетанкур познакомился с Сенновером в доме армянина Маничарова, в котором первый поселился с семейством. Маничаров в ту пору переживал нелегкий период, растратив оставленное ему отцом состояние. Француз и испанец позаботились о своем друге. По их требованию сей деятель, никогда ничем не занимавшийся и не имевший никакого чина, был принят в институт экономом в чине инженер-капитана...

Первыми четырьмя профессорами институту помог Наполеон, приславший лучших учеников Политехнической школы: Базена, Потье, Фабра и Дестрема. В 1812 году эти господа объявили, что не могут служить правительству, которое находится в войне с их отечеством, и потребовали, чтобы их отпустили на родину. Вместо Франции их отправили в Сибирь, где они сохраняли чины и жалования и откуда возвратились после заключения мира к своим должностям.

Долгое время самого Государя и его приближенных наставлял некто барон Штейн, масон, посланный в Россию немецкими тайными обществами с целью убедить русского императора встать на защиту Германии и всего мира от Бонапарта. Сладкое слово «свобода» не сходило с уст сего посланца, и именно он вложил в душу молодого царя грезу о себе, как спасителе и освободителе Европы.

Влияние Штейна, во многом, определило русскую внешнюю политику, плодами которой стали три бесславных кампании, Аустерлиц, Финляндия, Тильзит – слова, которые и годы спустя стыдно и больно было слышать русскому сердцу. Военные кампании, ведшиеся за чужие земли и интересы, стоившие России тысячи жизней, немало отразились и на ее казне. Положение ее решено было поправить самыми тривиальным способом – повышением налогов. И вновь сокрушался Карамзин бездарностью меры: «Умножать государственные доходы новыми налогами есть способ весьма ненадежный и только временный. Государственное хозяйство не есть частное: я могу сделаться богаче от прибавки оброка на крестьян моих, а правительство не может, ибо налоги его суть общие и всегда производят дороговизну. Казна богатеет только двумя способами: размножением вещей или уменьшением расходов, промышленностью или бережливостью. Если год от года будет у нас более хлеба, сукон, кож, холста, то содержание армий должно стоить менее, а тщательная экономия богаче золотых рудников. Миллион, сохраненный в казне за расходами, обращается в два; миллион, налогом приобретенный, уменьшается ныне вполовину, завтра будет нулем. Искренно хваля правительство за желание способствовать в России успехам земледелия и скотоводства, похвалим ли за бережливость? Где она? В уменьшении дворцовых расходов? Но бережливость государя не есть государственная! Александра называют даже скупым; но сколько изобретено новых мест, сколько чиновников ненужных! Здесь три генерала стерегут туфли Петра Великого; там один человек берет из 5 мест жалованье; всякому – столовые деньги; множество пенсий излишних; дают займы без отдачи и кому? – богатейшим людям! Обманывают государя проектами, заведениями на бумаге, чтобы грабить казну... Непрестанно на государственное иждивение ездят инспекторы,

сенаторы, чиновники, не делая ни малейшей пользы своими объездами; все требуют от императора домов – и покупают оные двойною ценою из сумм государственных, будто бы для общей, а в самом деле для частной выгоды, и проч., и проч. Одним словом, от начала России не бывало государя, столь умеренного в своих особенных расходах, как Александр, – и царствования, столь расточительного, как его! В числе таких несообразностей заметим, что мы, предписывая дворянству бережливость в указах, видим гусарских армейских офицеров в мундирах, облитых серебром и золотом! Сколько жалованья сим людям? И чего стоит мундир? Полки крадутся не одеждою, а делами. Мало остановить некоторые казенные строения и работы, мало сберечь тем 20 миллионов – не надобно тешить бесстыдного корыстолюбия многих знатных людей, надобно бояться всяких новых штатов, уменьшить число тунеядцев на жалованье, отказывать невеждам, требующим денег для мнимого успеха наук, и, где можно, ограничить роскошь самых частных людей, которая в нынешнем состоянии Европы и России вреднее прежнего для государства».

Эту записку с подробным изложением действительного положения дел в государстве Николай Михайлович Карамзин составил по просьбе великой княгини Екатерины Павловны для ее Августейшего брата. «Одна из главных причин неудовольствия россиян на нынешнее правительство есть излишняя любовь его к государственным преобразованиям, которые потрясают основу империи, и коих благотворность остается доселе сомнительной», – констатировал светлейший ум России. Государь сей доклад прочел, был весьма недоволен и запретил его к распространению. Однако, Никита Васильевич был в числе весьма немногих лиц, кому довелось ознакомиться с этим сочинением историографа. И как скрижаль перечитывалось простое и неоспоримое: «Главная ошибка законодателей сего царствования состоит в излишнем уважении форм государственной деятельности: от того – изобретение различных министерств, учреждение Совета и проч. Дела не лучше производятся – только в местах и чиновниками другого названия. Последуем иному правилу и скажем, что не формы, а люди важны. Пусть министерства и Совет существуют: они будут полезны, если в министерстве и в Совете увидим только мужей, знаменитых разумом и честью. Итак, первое наше доброе желание есть, да способствует Бог Александру в счастливом избрании людей! Не только в республиках, но и в монархиях кандидаты должны быть назначены единственно по способностям. Всемогущая рука единовластителя одного ведет, другого мчит на высоту; медленная постепенность есть закон для множества, а не для всех. Кто имеет ум министра, не должен поседеть в столоначальниках или секретарях. Чины унижаются не скорым их приобретением, но глупостью или бесчестием сановников; возбуждается зависть, но скоро умолкает пред лицом достойного. Вы не образуете полезного министерства сочинением Наказа, – тогда образуете, когда приготовите хороших министров. Совет рассматривает их предложение, но уверены ли вы в мудрости его членов? Общая мудрость рождается только от частной. Одним словом, теперь всего нужнее люди!»

Люди... Уже давно канул в лето «негласный комитет», но подлинные мужи силы и разума так и не заняли подобающих им мест. Так, министром народного просвещения сделался человек вовсе невежественный, бывший воспитанник Пажеского корпуса, дотоле занимавший должность обер-прокурора Святейшего Синода и главноуправляющего духовных дел иностранных исповеданий князь Александр Николаевич Голицын, с годами ударившийся в мистицизм. Министерство иностранных исповеданий было соединено с министерством просвещения, образовав министерство духовных дел и народного просвещения, разделенное на два департамента. Директором первого назначен был Александр Тургенев, а второго – Василий Попов, слепое орудие «Библейского общества», которое откровенно заявляло своей целью рассеять тьму нелепостей и суеверий, называемых греко-кафолическим восточным исповеданием. Усердствуя соединению вер, Попов и Голицын сделались их гонителями и покровителями всех сект, размножившихся в невероятном количестве.

Якобинцы и сектанты получали должности, воспитывали детей благородных фамилий, подросшие воспитанники, напичканные ядовитыми идеями, развивали их, не слишком таясь. И карающая десница не падала на головы ни тех, ни других. Зато упала на голову юноши Пушкина, дивно одаренного поэта, каких еще не являлось меж русскими стихотворцами – за пустейшие вирши, которым ни автор, ни его друзья не придавали ни малейшего значения.

Зато не позволили Вольному обществу любителей российской словесности осуществить благое начинание: издать «Полную Российскую энциклопедию», «Жизнеописания многих великих людей Отечества», иллюстрированную историю живописи, рисунка и гравюры... Министр просвещения усмотрел в сем проекте неуместное состязание с Академией наук, которой одной пристали подобные труды. Несмысленные! Какой вред был кому, если бы люди, в основном молодые и не лишённые дарований, полные благих стремлений, обратили оные и кипучую энергию свою на благое предприятие – прославление великих людей русских, рассказ русским о России, кою они фатально не ведали? Нет, связали руки, и не нашедшая доброго выхода энергия куда же обратилась? Не к тому ли, чтобы избавиться от все более ненавистного ярма? О, люди могут простить власти прямое тиранство, но тотальной глупости и бездарности, становящейся помехой всему живому – не простят никогда.

Но правящие Россией временщики не могли постичь этого и охотились на мух, слонов не примечая...

Этим ли людям и монарху, их поставившему, стоило писать доклад о несчастном положении русского образования, о верной организации оною, о необходимости просвещения, в котором единственно заключено противоядие всевозможным вредоносным учениям, заключено само будущее России? Разве не возвышал свой голос Карамзин, имевший возможность напрямую, с глазу на глаз говорить Государю горькие истины? Все впустую...

Никольский печально перелистал свои наброски и, бережно сложив обратно в папку, убрал ее в ящик. Он решил все же показать написанное наудачу приехавшему Стратонову – пусть и малосведущий человек в этой области, а все же интересно его мнение знать. А к тому донести до друга старого мысли свои, не дающие покоя ночами, объяснить ему, в рутине военной службы погрязшему, что происходит в Отечестве их, такими жертвами от порабощения спасенного и тепер в мирные дни к бедствию толкаемому.

## Глава 2.

Мужчины в белых балахонах и колпаках стучали себя кулаками по коленям, издавая странные звуки, женщины в таких же одеяниях кружились по зале все быстрее и быстрее, подобно юлам. Доведя себя до исступления, отдельные из них начинали выделывать самые невозможные движения и что-то истерично кричать.

– Дух сошел, – сказала наблюдавшую эту сцену из окна дома напротив дама и отошла вглубь комнаты.

– Дух известного происхождения, – заметил стоявший рядом мужчина. – Отвратительное зрелище – ощущение, словно наблюдаешь за жизнью сумасшедшего дома.

– Дамы, имеющие несчастье соседствовать с г-жой Татариновой, не находят слов, чтобы выразить свой ужас. Они собираются съезжать с квартиры, чтобы не стать добычей сатаны.

– Неужели глава департамента просвещения, в самом деле, посещает это беснование?

– Регулярно. Сам министр также бывает здесь. Кажется, у них весьма оригинальные взгляды на христианство...

– Черт побери! Несчастлива страна, в которой духовными делами заправляет сектант! Судя по всему, милая Эжени, матушка-Россия за время нашего отсутствия изменилась не в лучшую сторону. Как это может быть, чтобы в стране, населенной деловитым и способным народом, в стране, изобилующей умами и талантами, кадровая политика сводилась за редким исключением к замене одного дурака другим, еще большим дураком?

– Причем здесь народ, Виктор? Народ – стихия, едва ли сообщающаяся с правящей кастой. А в этой касте, по крупному счету, вообще, склонны подозревать таланты и ум лишь в представителях иных стран.

– Их не излечила от этого лакейского состояния даже война, вы правы, Эжени. Но Бог с ними, с дураками вообще и Поповым с Голицыным в частности. В сущности, мне нет дела, ходят ли они на сектантские сборища, в кабаки или в дом терпимости. Что Борецкая?

– О, она не пропускает ни одного собрания! – живо откликнулась Эжени.

– Старуха явно тронулась умом... Что ж, это нам на руку. Вы должны вступить в их общество, моя дорогая спутница.

Эжени вопросительно приподняла густую, смолистую бровь:

– Вы хотите, чтобы я участвовала в этом балагане и губила свою душу?

– Давайте не будем говорить о душе? Вы же не будете всерьез уподобляться этим помешанным, а лишь войдете к ним в доверие. С вашими способностями вам это не составит труда. Стоит вам продемонстрировать несколько ваших чудес, и это сборище падет к вашим ногам и возведет вас в свои пророчицы.

– Сомнительную славу вы мне предлагаете. Но у них уже есть пророк.

– Вот как? Что же он?

– Какое-то косматое чудовище. По-видимому, простолюдин. Юродивый или хороший актер.

– Юрода мы оттесним, а актера купим, – решил Виктор.

– Мы?

– Оттесните вы, дорогая, – целуя руку даме, улыбнулся бывший граф Неманич, ныне поселившийся в столице под скромной фамилией Курский. – А куплю я.

– Что ж, я обещала помогать вам, и сделаю то, о чем вы просите. Но вы помните, я никогда не делаю шаг, не зная, каков будет следующий.

– Не волнуйтесь, ничего крамольного. Я лишь хочу, чтобы вы вошли в доверие к старухе, стали бывать у нее дома, а, если надо, и поселились бы у нее, дабы знать все о жизни этого почтенного семейства.

– Мой друг, юрод, о котором я говорила, живет как раз у Борецкой. Они зовут его Гаврюшей.

– Это вам рассказали те две несчастные старые девы, которым не повезло с беспокойными соседями?

– Именно.

– Гаврюша... Что ж, если он актер, а не юрод, то может быть нам более чем полезен. Вам необходимо приглядеться к нему, Эжени. А тогда и решим, как действовать дальше.

Этот разговор происходил тремя неделями прежде. Эжени достало столь незначительного срока, чтобы выполнить инструкции Курского. Теперь она, укутавшись в теплую шубу, сидела подле него в крытой коляске и наблюдала за домом Борецкой. Ей достало одной встречи с юродом Гаврюшей, чтобы распознать в нем обычного актера, умело обирающего старую барыню и дурачащего ее знакомых. Не откладывая дела в долгий ящик, Виктор решил лично пообщаться с мошенником и теперь дожидался, когда тот выйдет из дома.

Ждать пришлось недолго – Эжени успела заметить, что юрод во время дневного почивания барыни уходит якобы «в церкву», а на деле спешит в находившееся в нескольких кварталах от дома Борецких злачное место. Каким порокам предавался он там, ей, разумеется, было неведомо.

Едва Гаврюша показался на улице, как Курский прихлопнул себя по колену:

– Тесен мир! Нужно быть действительно выдающимся актером, чтобы играть блаженного с такой физиономией!

– Вы знаете его?

– Еще бы мне не знать этого разбойника! Помните ли вы, милая Эжени, мой побег из кишневской тюрьмы?

Разумеется, она помнила. Виктор ожидал там своей не сулящей ничего доброго участи в компании отпетых злодеев, среди которых были три разбойника недавно разгромленной шайки, наводившей ужас на путешественников, особенно, купцов. Все они были малороссами, бежавшими из крепостной зависимости и зажившими вольной казачьей жизнью. Их атаман чем-то походил на Стеньку Разина. В его внешности не было ничего, чтобы выдавало в нем лихого разбойничьего атамана. В тюрьме он был смирен, тужил о своей грешной жизни и тосковал по тому безоблачному времени, когда был он простым крестьянином, имел пригожую невесту и не помышлял о грабежах и иных злодействах. Его подельник Гирия, здоровенный горбун с непропорционально длинными руками и смуглым, злым лицом, смотрел на атамана с презрением. Сам он не испытывал никакого сокрушения о совершенном, а печалился лишь собственной участью. Каким-то образом этому негодяю удалось украсть ключи у надзирателя и отомкнуть свои оковы. О друзьях по несчастью не имел он и мысли, желая спасти от кнута лишь собственную спину, но не тут-то было. Виктор успел мертвой хваткой вцепиться в его ногу. Гирия попытался ударить его кулаком в голову, но молодой офицер ловко увернулся и, вскочив, повис уже на шее разбойника.

– Пусти, ваше благородие, а не то не жить тебе!

– Тогда и тебе не жить! Один громкий звук, и твои же друзья поднимут шум, чтобы не лишаться твоего общества!

– Чего тебе надо?

– Либо уходим вместе, либо вместе остаемся здесь.

Выбора у Гири не было, и так Виктор обрел свободу. Дальнейшие их пути лежали порознь, но разбойник-горбун был слишком примечательной фигурой, чтобы его забыть...

– Поезжайте домой, – сказал Курский Эжени, спрыгивая на мостовую. – А я провожу своего старого приятеля и побеседую с ним.

– Будьте осторожны, Виктор! – откликнулась она, пожимая его руку.

Курский, стройный и по-юношески гибкий, быстро последовал за Гаврюшей-Гирей. Эжени некоторое время смотрела ему вслед. Этим человеком, сочетавшим в себе глубокий и находчивый ум, мужество, ловкость, природное благородство души, скрываемое под маской холодного, беспощадно ироничного циника, она восхищалась и ни единого мгновения не жалела о том, что когда-то соединила с ним свою странную судьбу. Они оба остались верны своим обетам, но в то же время их жизнь давно сделалась единым целым. Настолько, что, если Виктору грозила беда, Эжени всегда чувствовала это – даже если он находился на другом конце света.

Теперь она была спокойна и, тронув кучера за плечо, сделала ему знак ехать домой.

Курский же благополучно проследовал до трактира «У Евпла», где обрел Гаврюшу, мирно вкушавшего беленькую и нетерпеливо мявшего могучей лапой льнувшую к нему девку. Виктор бесцеремонно уселся напротив них и поприветствовал подавшегося в юроды разбойника:

– Ну, здравствуй, Гиря.

Гаврюша вздрогнул и, медленно подняв косматую голову, вперил в Курского тяжелый, застывший взор. Его лапа сползла с оголенного плеча девки, и та, поняв, что стала лишней, тотчас ускользнула. Он осушил уже наполненную стопку, и, наконец, заговорил:

– Вы, господин хороший, верно, обознались.

– В Кишеневе генерал есть. Он точно не обознается. Ты, Гиря, человек приметный. Да и клеймо у тебя на правом предплечье приметное. По нему тебя сразу вспомнят. Думаю, твой атаман, коли жив, рад будет встретить тебя на каторге, куда ты уж наверное попадешь, потому что горбуны, как говорят, более выносливы к ударам кнута, чем обычные люди.

– Помер атаман, – холодно сказал Гиря. – На третий день после кнута преставился, – водрузив на стол массивные, поросшие рыжеватым волосом кулаки, он заметил: – Где-то видел я тебя, барин, нутром чувствую, что видел, а глаз твоих вспомнить не могу. Верил бы я в черта, так подумал бы, что ты он самый есть.

– Я не против, если ты будешь считать меня чертом. В сущности, нечто общее у меня с этим малоприятным господином есть.

– Ну, сказывай, барин, почто тебе моя душа зандобилась.

– А хотел я твоей душе предложение сделать – заработать недурно, – Курский положил на стол несколько ассигнаций. – Это задаток. Если станешь делать, что скажу, то будешь получать подобное вспомоществование регулярно.

Глаза Гири жадно загорелись:

– Весь к услугам вашего превосходительства!

– Даже не спросив, что от тебя потребуется? – усмехнулся Виктор.

– Какое мне дело? Если вашему превосходительству нужно прибить кого, так это мы всегда со всем нашим удовольствием.

– Если мне понадобится кого-нибудь прибить, то я справлюсь с этой задачей сам, – холодно отозвался Курский. – Ты давно живешь в доме Борецких?

– Три года у них кормлюсь.

– И хорошо знаешь, что происходит в этом почтенном семействе?

– Кому ж лучше знать? – самодовольно ухмыльнулся Гиря. – Старуха мне чаще, чем попу, исповедуется. А за остальными я доглядываю для собственной потехи.

– Отлично. Вот, и меня заодно потешишь. Я должен знать все о жизни этой семьи. Их материальное положение, их страсти, их...

– Преступления? – услужливо уточнил бывший разбойник.

- Все. Карточные долги, любовницы... В общем, ты понял.
  - Чего уж не понять. Знать, насолили вам эти господа. Хотите их на угольках изжарить?
  - Это уже не твое дело.
  - Очень даже мое, – возразил Гирия. – Ну как вы эту семейку под монастырь подведете, а при ком же я буду харчеваться? На большую дорогу идти опять прикажете?
  - Тебя возьмет к себе другая старая дура.
  - А если не возьмет?
  - А если не возьмет, даю слово, что на улице ты не останешься. И не задавай больше лишних вопросов, иначе, даю слово, я сделаю так, что следующую ночь ты проведешь в холодной.
- Бывший разбойник зло усмехнулся и спрятал в карман деньги:
- Как прикажете доносить вам? Грамотой я не владею, отлучаться надолго также затруднен.
  - Каждую среду в это же время здесь буду ждать тебя либо я сам, либо мой человек. От него вопросов не жди. Просто говори все, о чем имеешь сказать. Будешь получать одну и ту же сумму всякий раз. Если же твое сообщение окажется особенно ценным, будут премиальные. Только учти: попробуешь соврать – пеняй на себя. Я об этом узнаю, будь уверен.
- С этими словами Курский оставил своего нового агента. Вечером его ожидала не менее важная встреча. И к ней нужно было успеть основательно подготовиться.

### Глава 3.

В дом 14 по улице Мойке стекались гости. Еще с 18-го века часть его принадлежала адмиралу Петру Пущину, ныне здесь проживал его внук Иван, сменивший мундир поручика Конной артиллерии на ничтожную должность сверхштатного члена Петербургской палаты уголовного суда, дабы показать, что в службе государству нет обязанности, которую можно было бы считать унижительной. На этом поприще познакомился он с другим отставным поручиком, решившим защищать права простого человека в уголовном суде – Кондратием Рылеевым. Пущин увидел в Рылееве двигатель, способный дать ход делу, которому сам он и его друзья решили посвятить себя. И не ошибся. Кондратий Федорович скоро сделался неформальным вождем Северного общества, его душой, огнем, воспламеняющим сердца.

Константин Стратонов вступил в ряды общества вслед за своим другом и однополчанином Сашей Одоевским, юношей-поэтом с высокими помыслами и мечтательным выражением благообразного лица. Саша восхищался Кондратием, всем чистым сердцем своим верил в идеалы свободы, воспринятые им от своих детских наставников Шопена и Арсеньева. С их легкой руки мальчик проникся идеями Руссо и Монтескье, уже в отроческие годы наизусть знал Вольтера. Его романтическая настроенность подчас казалась Константину излишней: такая инфантильность – престола ли серьезному человеку? Но Одоевский был поэт, и все воспринимал сердцем, поддаваясь пылкому воображению.

Константин, имевший куда более суровую школу жизни, был не столь прекрасодушен. Выросший в чужом семействе, не помнивший матери и почти не помнивший отца, корнет Стратонов получил образование в самом лучшем военном учебном заведении – «рыцарской академии», Первом кадетском корпусе. Здесь же, несколькими годами раньше, учился и Кондратий Рылеев.

В то время уже осталась в прошлом легендарная эпоха корпуса, когда возглавлял его Федор Евстафьевич Ангальт, заботившийся о просвещении кадетов. При нем в числе преподавателей были Княжнин и Железников, актер Плавильщиков декламировал в классах Ломоносова и Хераскова. Юноши читали сочинения знаменитых историков и философов, получали выписываемые из-за границы журналы и газеты, а кроме того работали на маленьких участках разбитой в саду сельской фермы. Увы, Ангальт впал в немилость после французской революции, как почитатель Руссо и Вольтера, и «рыцарская академия» сделалась вполне обычным заведением такого рода.

В бытность там Константина корпус возглавлял знаменитый немецкий писатель, вдохновитель периода «Бури и натиска», получившего название по его трагедии, друг Гете и Шиллера, Фридрих Клиндер. Сын прачки и дровосека, борец за национальное единство Германии, он в итоге вступил в Русскую армию, женился на русской и в чине генерала возглавил «рыцарскую академию». Сын его погиб под Бородином. Романы Клиндера были большей частью запрещены в России и, в конце концов, сам он попал в число «вольномыслящих» в глазах правительства.

Стратонов всегда с благодарностью вспоминал и его, и преподавателей корпуса, и суровых барынь, присматривавших за младшим отделением, и своих товарищей. Рылеев, будучи старше, не был в их числе. Между тем, в те поры еще вспоминалась в корпусе его озорная шутка над добрейшим экономом Бобровым, всегда отечески относившимся к кадетам, утешавшим их и с большим трудом вынуждавшим себя бывать суровым, когда того требовала необходимость. Этого милейшего человека любили все. Даже старый хромоу пес, вечно бродивший за ним. Однажды Бобров явился к Клиндеру с обычным утренним рапортом, вложенным в треуголку. Развернув лист, директор немало удивился, обнаружив в нем шуточные вирши. То была первая

поэма Кондратия «Кулакияда». В тот же день он повинился перед обиженным до слез экономом за свою шалость и получил от добряка прощение...

В годы войны лучших кадет из старших классов досрочно выпускали в офицеры. Среди них был и Рылеев, успевший пусть и под конец принять участие в битве народов. Младшие товарищи страшно завидовали старшим. По сей день Стратонов горько сожалел, что ему не привелось наравне с братом бить ненавистного супостата.

Война обошлась без него, и Константин с горечью сознавал, что лучшие годы проходят в трясине аракчеевщины, затянувшей всю армию. После войны Государь имел желание сохранить большую армию, но ее содержание требовало средств. Тут-то и выступил вперед временщик с проектом создания военных поселений. Издавна таковые поселения располагались на границах России, родившись из живой необходимости, создаваясь самими поселенцами – казаками. Но в отличие от казаков Аракчеев превратил поселения в форменную каторгу. Все в них было заведено на немецкий манер. Измученный полевой работой поселянин должен был вытягиваться во фронт и маршировать. Возвратясь домой, обязан мыть и чистить избу и мести улицу. Ему надлежало объявлять о каждом яйце, которое принесет его курица. Его жена не имела права просто родить дома, но должна была, чувствуя приближение родов, являться в штаб. Этот ужасный порядок завели в Белоруссии, на Буге, в Харьковской губернии, в Чугуеве... Даже самих казаков не обошло это лихо. Часть из них решено было обратить в «поселенную кавалерию». Особенно пагубно сказалось это на славном Чугуевском казачестве. Еще недавно чугуевское население выставляло десятиэскадронный уланский полк, который отличался красотой людей и лошадей, равно как преданностью и мужеством. Но это воинственное племя было переформировано в военные поселения, изменившие вид этого небольшого, но богатого края и превратившие его в пространную казарму. Новая система нарушала все права собственности и водворила везде и всюду горькую тоску. Много казаков, поседевших под ружьем и покрытых славными ранами, было переселено из родного края и вынуждено умирать в местах для них чуждых, частью даже в Сибири...

Разумеется, доведенные до отчаяния люди восставали – восстания беспощадно подавлялись. Счастье, что устройство поселений оказалось слишком дорогой для казны «забавой», и это начинание не получило предполагаемого изначально распространения.

Жизнь офицера в невоенное время, если он не принадлежит к богатому семейству, весьма трудна. Особенно в столице. Для того, чтобы поддерживать свое положение хоть сколько-нибудь вровень с товарищами, нужно иметь деньги. Офицерское же жалование было столь ничтожно, что даже пошить себе новый мундир оказывалось неподъемной задачей. Начинались долги... Избавить офицера от уплаты долгов по закону могла только война, но ее не было. Константин восхищался аскетизмом старшего брата, пренебрегавшего неформальными «правилами» и оттого обходившегося скромным достатком. Но Юрий уже стяжал себе славу на полях великой войны, стяжал уважение товарищей по оружию. И этот фундамент был незыблем, его не нужно было укреплять соблюдением ложных «правил». У Константина же не было ничего. И он жестоко страдал от своего бесславного и нищенского существования, из которого не находил выхода.

Тяготило душу и то видимое небрежение, если не сказать больше, с которым правительство относилось зачастую к лучшим сынам Отечества. Лишь два героя минувшей войны удостоились памятников, кои были воздвигнуты в столице – Кутузов и Барклай. И это было справедливо, но Константин разделял негодование брата, что не нашлось места памятнику третьему – Багратиону, чей прах так и не был перезахоронен, и чье имя было как будто вовсе позабыто.

А чего стоила история величайшего вослед Ушакову флотоводца Сенявина? Этот человек, получивший в командование все русские морские и сухопутные силы Средиземноморья, сделался грозой турок и французов. Он не допустил захвата Ионических островов францу-

зами, разгромив турецкий флот в Дарданелльском и Афонском сражениях 1807-го года, и тем самым обеспечил господство русского флота в Архипелаге.

Увы, по Тильзитскому миру Сенявин вынужден был передать Франции и Ионические острова, и бухту Каттаро на Адриатическом море, и отплыть на родину. До России, однако, его корабли добрались нескоро. В Лиссабоне их блокировал британский флот по случаю объявления Россией войны Англии. После долгих переговоров адмирал заключил с англичанами соглашение об интернировании эскадры в британских портах на время войны. Целый год он находился с кораблями на Портсмутском рейде. Так как содержание, выделяемое пленным было ничтожно, а Россия ничем не помогала попавшим в беду морякам, то Дмитрий Николаевич, дабы спасти подчиненных от голода, взял содержание их на себя. Он истратил все имевшееся у него состояние до гроша, занимал у собственных офицеров и в итоге возвратился на Родину совершенно нищим. Какова же была награда герою, спасшему эскадру от затопления и приведшего ее в целостности к родным берегам, заплатив за это такую цену? Немилость Государя, посчитавшего лиссабонские договоры с англичанами самовольством. В 1812 году Сенявин, командовавший фактически бездействовавшей Ревельской эскадрой, просил военного министра перевести его туда, где мог бы и он послужить Отечеству делом в суровую годину. Ему не отвечали, а в 1813-м вовсе уволили со службы, назначив лишь половинную пенсию, ввергнув тем самым адмирала и его семейство в совершенную нищету.

Подобные примеры переполняли душу Константина возмущением. Толчком к приведению в действие копившегося недовольства стала для него печальная и постыдная история восстания Семеновского полка.

Шефом Семеновцев был сам Государь, и полк считался образцовым. Командовал им генерал-адъютант Яков Алексеевич Потемкин, храбрый офицер в сражениях и франт в гостиных. Офицеры обожали своего командира, бывшего всегда вежливым и менее взыскательным перед фронтом, чем начальники в других полках. Дисциплина Семеновцев была образцовой. Офицерами в нем состояли молодые люди из лучших фамилий. Строго соблюдая законы чести, в товарище не терпели они и малейшего пятна на ней. Они не курили табаку, не выражались скверными словами, были воспитаны и обходительны со всеми. Нижние чины тянулись за офицерами, были всегда учтивы и исполнены сознания своего достоинства, как телохранителей государевых. Таким солдатам не требовалось телесных наказаний, и они ушли из жизни полка. Казалось бы, что могло быть лучше?

Увы, мнимое пренебрежение к фронту вызвало недовольствие еще совсем молодого и горячего великого князя Михаила, командовавшего бригадой, в которую входил Семеновский полк. Он-то и предложил в целях исправления положения заменить Потемкина полковником Шварцем. Человек грубый и черствый, Шварц из всех воспитательных мер признавал одну – палку.

И, вот, палочные удары посыпались на спины забывших оные семеновских солдат, не исключая и тех заслуженных фронтовиков, которые самим уставом были избавлены от телесных наказаний. Оскорбления и унижения, коим подвергались они за мельчайшую провинность, вызывали чувство гнева во всяком честном человеке. Гвардия пришла в уныние – если так поступили с «телохранителями», то что ждать другим?..

Тогда-то и запели тишком по углам гостиных в офицерских группах переведенную отставным полковником Катениным песню французской революции:

Отечество наше страдает  
Под игом твоим, о злодей!  
Коль нас деспотизм угнетает,  
То свергнем мы трон и царей.  
Свобода! Свобода

Ты царствуй отныне над нами.  
Ах, лучше смерть, чем жить рабами:  
Вот клятва каждого из нас.

Семеновский бунт был подготовлен офицерами. В частности, братьями Муравьевыми-Апостолами, сыновьями русского посла в Мадриде. «Vivere in sperando, morire in casando!» – жарко говорили они, считая, что не должно дожидаться приезда Императора с очередного всеевропейского конгресса в Троппау и его возможной милости.

На рассвете промозглого осеннего дня все нижние чины в одно мгновение высыпали из казарм и построились на площади, отвечая допрашивающим их батальонным и ротным командирам, что не хотят более находиться под начальством полковника Шварца и что, за исключением этого, готовы исполнять все, что им прикажут. Бунтарей увещевали корпусный начальник генерал Васильчиков и сам великий князь, но напрасно. На другой день все три тысячи человек признали себя арестантами и беспрекословно отправились в крепость.

Через несколько дней из Троппау пришел приказ Государя – полк было велено кассировать: нижние чины разослать по линейным полкам, офицеров, коих виновность осталась не доказана перевести также в армию, только с повышением двумя чинами. Таковых было большинство, так как солдаты не выдали никого из своих командиров. Лишь несколько из них все же попали под суд и были разжалованы в рядовые. Шварца судили за жестокое обращение с солдатами и отставили от службы. Полк же был набран сызнова.

Вскоре после этого Константин близко сошелся с вольномыслящими и решительно настроенными молодыми офицерами и, наконец, вошел в Северное общество. Брату он ни словом не обмолвился о том, зная, что тот, несмотря ни на что, никогда не поддержит какое-либо движение против существующего строя, против Государя. К тому же Юрию не могло понравиться, что одним из мест собраний «вольнодумцев» стал салон его собственной жены...

Нынешнее заседание общества имело особое значение – для координации совместных действий в Петербург прибыл глава общества Южного полковник Павел Пестель, «Русская правда» которого стала вторым проектом устройства России после муравьевской Конституции северян. Пестель прибыл в город на несколько дней в сопровождении майора Рунича. И, вот, наконец, предстояло первое общее совещание.

Константин никогда прежде не видел Пестеля и теперь с любопытством разглядывал его невысокую плотную фигуру, полное, надменное лицо. Герой Бородинского сражения, отличный офицер, жалованный самим Государем за образцовый порядок, наведенный им в Вятском пехотном полку, он отличался решительностью, амбициозностью и властью и чем-то напоминал Наполеона. Как гостю, ему было предоставлено первое слово, и он сразу завладел вниманием аудитории. Павел Иванович говорил энергично и убежденно. Он не рассуждал, не убеждал, а утверждал и требовал, чтобы именно его «Русская Правда» была признана основой российского законодательства после революции.

– Революция, господа, не терпит мягкости и нерешительности! – говорил он. – Наш противник силен, а потому действовать надлежит твердо и жестко, иначе дело будет проиграно! Никаких компромиссов и полумер! Самодержавие должно быть уничтожено без возможности восстановления когда-либо. А на его месте да будет республика!

– Признаю, еще недавно я уверенно поддержал бы вас, – вымолвил Рылеев задумчиво. – Но по размышлении должен заметить, что весьма сомневаюсь в том, что народ русский готов к столь радикальной смене государственного строя. Мы можем оттолкнуть его от себя чрезмерной крутизной поворота, а потому, полагаю, что на первых порах наиболее разумный проект – областное правление Северо-Американской республики при Императоре, власть которого будет ограничена Конституцией и не превосходить власти президента Штатов.

– Народ, Кондратий Федорович, примет тот строй, который сможет устоять, – холодно ответил Пестель. – Тотчас по уничтожении Царствующего дома мы создадим правительство Провидения, которое направит всех по пути добродетели.

– И каким же образом? – подал голос поляк Кавалерович, странноватый господин с пышными усами и в синеватых очках.

– Вы не читали «Русской Правды»?

– Читать, Павел Иванович, совсем не то, что слышать. Впрочем, я припоминаю, что у вас там предусмотрены некие... приказы благочиния, которые будут следить за свободными гражданами.

Никто, казалось, не заметил иронии в словах остроносого поляка. И Пестель спокойно ответил:

– Вы правы. Над оным приказом будет существовать также Высшее благочиние, которое будет охранять правительство. Оно будет следить за разными течениями мысли в обществе, противодействовать враждебным учениям, бороться с заговорами и предотвращать бунты. Любые общества мы запретим: как открытые, так и тайные, потому что первые бесполезны, а вторые вредны.

– Но ведь это диктатура! – воскликнул князь Трубецкой.

– Разумеется, – охотно согласился Пестель. – Но диктатура неизбежна на первых порах, иначе мы ввергнем страну в анархию.

– Я не могу согласиться с необходимостью диктатуры временного правительства, – сказал Рылеев. – Только всесословное Учредительное собрание, Народный собор должен иметь право учреждать новые законы. Никак иначе! В противном случае это будет... просто узурпация власти и нарушение прав народа.

Лицо Павла Ивановича осталось непроницаемым:

– Я совершенно согласен с необходимостью созыва Учредительного собрания, но согласитесь, Кондратий Федорович, мы не сможем сделать это на другой день по свержении монархии. В любом случае, будет промежуточный период, в который нам придется управляться самим.

– Но этот период не продлится дольше года или двух! – заметил автор северной «Конституции» Никита Муравьев.

– О нет! – возразил Пестель. – Десять лет, господа! Как минимум десять лет! Столько понадобится диктатору, чтобы подготовить почву для созыва собрания и переходу к демократическому устройству.

– Это ужасно – то, что вы говорите! – вмешался князь Трубецкой. – Вы хотите на десять лет погрузить страну во мрак диктатуры с каким-то приказом благочиния, похожим на средневековую опричнину! Ведь это же – шпионство!

– Да, шпионство, – спокойно подтвердил Павел Иванович. – Быть может, вы полагаете, что сторонники монархии смиряются с переворотом и не будут пытаться поворотить все вспять? Не будьте наивными, господа. Мы собираемся начать войну. А на войне шпионство – суть... не только позволительное и законное, но даже надежнейшее и почти, можно сказать, единственное средство, коим Высшее благочиние поставляется в возможность охранять государство.

– А по мне, так самые надежные шпионы – это собственные глаза и уши, – заметил Кавалерович.

– Увы, пары глаз и пары ушей не достанет на всю империю!

– Как знать! – тонко улыбнулся поляк и не без ехидства осведомился, осторожно переместив левой рукой со стола на колено сухую правую. – И какое же число «благочинных» вы намерены призвать в надсмотрщики над свободными гражданами?

– 112 900, – мгновенно ответил Пестель.

– Прекрасно, – улыбнулся поляк. – Знаете, я не менее вас люблю цифры, и восхищен вашей заботой о гражданах. На каждые четыре сотни человек по «благочинному» – с такой опекой эра всеобщего благоденствия не замедлит настать!

– Какое-то безумие! – развел руками бледный Трубецкой.

– Это несбыточно, невозможно и противно нравственности, – поддержал его Муравьев. – Неужели вы думаете, что народ станет терпеть вашу армию доносчиков и соглядатаев?

– Думаю, что станет. Впрочем, чтобы избежать лишнего ропота, можно занять умы людей внешней войной – скажем, восстановлением древних республик в Греции. Помощь братьям по вере народ воспримет, как дело богоугодное.

– Этого говорит человек, считающий духовенство чиновными особами и желающий запретить прием в монашество до достижения шестидесяти лет? – прищурился Кавалерович.

– А вы, стало быть, внимательно читали мое сочинение. Заметьте себе, что Петр Великий в своем отношении к монахам был с ним вполне согласен.

– Я не менее горячий сторонник республики, чем вы, Павел Иванович, – сказал Рылеев. – Но деспотизм, который вы предлагаете, для меня неприемлем. Какая польза свергать одного тирана, чтобы водрузить на народную шею другого?

– Почему бы не иметь деспота, если этот деспот Наполеон? Вот, кто отличал не знатность, а дарование и поднял Францию на недостижимую высоту!

– И был свергнут с нее! – пылко воскликнул Константин, которому речи Пестеля не нравились все больше.

– Сохрани нас Бог от Наполеона! – сказал и Кондратий. – Впрочем, сего не стоит опасаться. В наше время даже честолюбец предпочтет быть Вашингтоном, нежели Наполеоном.

Пестель резко пошел на попятную:

– Разумеется! Я лишь хотел сказать, что не должно опасаться честолюбивых замыслов, что если бы кто и воспользовался нашим переворотом, то ему должно быть вторым Наполеоном, и в таком случае мы все останемся в проигрыше.

– А позвольте осведомиться, не думаете ли вы, что, убив Помазанника Божия, вы сделаете его мучеником в глазах народных? И народ не простит нам этой крови? – спросил Кавалерович.

– Опасность народного возмущения есть, ваша правда, – не стал отрицать Пестель. – Ежели народ придет в сильное раздражение от убийства тирана, то мы отдадим им на растерзание непосредственного убийцу, представив его единственным виновником произошедшего.

– Но ведь это... подло! – пробормотал Константин.

– Нисколько, господин корнет, потому что исполнитель приговора будет готов принести и эту жертву на алтарь свободы, если потребуется.

Разговор затянулся далеко за полночь. Рылеев настаивал на выработке Устава, являющего собой золотую середину между муравьевским и пестелевским проектами. Пестель, соглашаясь в частности, упрямо настаивал на первенстве своей «Русской Правды». Решено было стремиться к объединению обществ и постоянной координации действий. Наконец, гости удалились.

– Ну-с, что скажете, Кондратий Федорович? – спросил князь Евгений Оболенский.

– Скажу, что это опасный человек, и за ним нужно приглядывать, – ответил Рылеев. – Сдается мне, что именно себя он видит нашим новым деспотом.

– Несомненно, – поддержал его Кавалерович, раскуривая трубку с длинным бунчуком. – Скажу больше, наш уважаемый собрат, по-видимому, весьма презирает тот самый народ, о котором все мы здесь печемся. Если бы власть оказалась в его руках, то аракатеевщина показала бы нам невинной игрой в солдатики.

– Вот, поэтому нужно быть с ним осторожными: использовать все то здоровое и полезное, что, безусловно, есть в его идеях, и ограничивать все вредоносное.

– Признаюсь, после этого разговора мою душу снедают сомнения, – покачал головой Оболенский. – В конце концов, имеем ли мы право, как частные люди, составляющие едва заметную единицу в огромном большинстве, составляющем наше Отечество, предпринимать государственный переворот и свой образ воззрения на государственное устройство налагать почти насильственно на тех, которые, может быть, довольствуясь настоящим, не ищут лучшего, если же ищут и стремятся к лучшему, то ищут и стремятся к нему путем исторического развития?

– Вы напрасно сомневаетесь, друг мой! – горячо возразил Рылеев, быстро поднявшись с места и вплотную подойдя к князю. – Идеи не подлежат законам большинства или меньшинства. Они свободно рождаются и развиваются в каждом мыслящем существе. Они общительны и, если клонятся к благу общему, а не являются порождением чьего-то самолюбия и своекорыстия, то выраженные несколькими лицами уже есть то, что большинство чувствует, но еще не способно выразить. Поэтому мы имеем полное право говорить и действовать от имени большинства в уверенности, что наши идеи сообщатся ему и будут полностью одобрены! – его большие темные глаза вспыхнули, как бывало всегда, когда говорил он вдохновенно, и заряд его веры сообщился всем присутствующим.

Немного ободрили они и Константина, но, едва он покинул дом Пущина, как сомнения нахлынули на него с новой силой. Эти люди собирались совершить цареубийство, при надобности расправиться со всей царствующей фамилией, ввести диктатуру... Впрочем, к чему возводить напраслину на всех? Этот план принадлежит лишь изуверу Пестелю, о котором так справедливо высказался Кавалерович. Северяне желают лишь Конституции, освобождения крестьян, соблюдения законов. И даже Рылеев согласен с необходимостью монарха!..

Стратонова обогнал идущий быстрым шагом Кавалерович. На мгновение он обернулся и смерил корнета пристальным взглядом цепких, умных, пронзительных глаз. И не сказав ни слова, скрылся в темноте, легко неся вперед свою тонкую, высокую фигуру.

Вот еще странный человек! Никогда не мог понять Константин, что делал этот умный и язвительный инородец в Обществе, отчего пользовался в нем совершенным доверием. Откуда, наконец, взялся он и чем занимается в России. Приходилось слышать, будто бы Кавалерович – масон высокой степени, и прибыл в Россию, как посланник заграничных тайных обществ для координации действий с русскими. В это можно было поверить, учитывая, что Рылеев с некоторых пор являлся представителем Российско-Американской компании, директорами которой были члены масонской ложи. Одоевский рассказывал, будто бы и поляк подвизался в этой компании и через нее сошелся с Кондратием.

Отвлечшись на странного поляка, Константин вновь вернулся к своим невеселым размышлениям. Ему все более казалось, что жажда справедливости завела его куда-то не туда, что Общество преследует отнюдь не только те цели, о которых говорит, а он, Стратонов, оказывается слепым орудием в неведомой игре. Что бы сказал брат Юрий, узнав, что он состоит в рядах заговорщиков? Тяжело и представить себе. Каким ударом было бы для него это открытие! Но и отступить – разве не поздно? Отступить – значит, предать товарищей, которые доверяли ему. А что может быть позорнее предательства?..

## Глава 4.

Ольга Реден играла на фортепиано столь самозабвенно, что не услышала, как в комнату вошли мать и дядя Алексис. А они некоторое время безмолвствовали, не то ожидая, когда она закончит, не то заслушавшись мелодией.

– Что ты играешь, дитя мое? – осведомилась Анна Гавриловна.

– Это вальс, написанный Сашей, маман. Не так давно он принес мне ноты, и я, наконец, разучила его.

– Боже! – мать воздела руки к небу и тяжело опустилась в кресло. – Даже музыка в этом доме – его!

– Вам не понравился вальс, маман? – невозмутимо спросила Ольга.

– Вальс бесподобен! – улыбнулся дядя, не давая матери ответить. – У этого юноши, несомненно, есть талант. Жаль только, что он не может определить, к чему именно. Слегка поэт, слегка художник, слегка музыкант...

– А, в общем и целом, ничто! – воскликнула Анна Гавриловна. – Мальчишка без денег, чина и дела! Если бы не щедрость к нему его беспутной сестрицы, он бы давно пропал с голоду!

– Анюта, сделай милость, помолчи, – попросил дядя, также усаживаясь. – Мы ведь договорились, что говорить буду я.

Ольга насторожилась. Она знала, что мать не выносит Сашу Апраксина, считая его перекатной голью и пустым человеком, лишенным всякого будущего, но не обращала на это внимание, твердо решив выйти замуж за талантливого, но слишком беспечного юношу. Старшая дочь давно почившего Фердинанда Редена, Ольга полностью унаследовала характер отца: решительная, целеустремленная, умная девушка отличалась огромной силой воли и редким упорством. А к тому – совершенным постоянством в своих вкусах и симпатиях.

Получив прекрасное домашнее образование, Ольга после смерти отца сама занималась с больной от рождения сестрой, которую прогрессирующий паралич давно приковал к инвалидному креслу. Из-за искаженной речи и болезненной слабости педагога затруднялись заниматься с нею, а мать и вовсе не могла, мгновенно впадая в истерику от вида мучений калеки-дочери. Пока был жив отец, он занимался с Любой всякий свободный час, веря, что его и ее упорство возьмут верх над страшной болезнью и, если не даруют исцеление, то уж во всяком случае избавят девочку от жалкого растительного существования. Ольга продолжила самоотверженный подвиг отца и достигла значимых результатов. Люба читала и писала на трех языках, сочиняла стихи, прекрасно чувствовала музыку и литературу. Ольга, отказываясь от многих увеселений, не имея близких друзей, старалась проводить как можно больше времени с сестрой. И если она была единственным человеком, совершенно понимавшим Любу, то и Люба была единственной, от кого у нее не было тайн.

Только Люба знала о том, какое глубокое и сильное чувство завладело сердцем ее холодной и строгой на людях сестры после случайной встречи на именинах дальней родственницы с молодым человеком по имени Александр Апраксин. Странное это было чувство. Не любовь прекрасной дамы к благородному рыцарю, не обожание юной барышни к лощеному франту. В этой любви было что-то материнское. Может, именно потому Ольга так легко прощала Саше все его ошибки, ветренность, непостоянство, увлечения. Так любящая мать прощает возлюбленному чаду все его проказы, покрывая их нежностью и при этом глубоко скорбя в душе.

Ольга имела слишком ясную голову, чтобы не видеть всех тех недостатков своего избранника, о которых настойчиво твердила мать. Но это был тот редкий для нее случай, когда сердце брало верх над рассудком, заставляя последний усиленно работать, чтобы пройти по узкому ущелью, не сорвавшись в пропасть. Только Люба знала, как дорого стоило сестре ее кажущейся

еся спокойствие и уверенность в совместном с Сашей будущем, только она видела слезы от огорчений и обид, которые невольно причинял ей он и вольно – мать.

И, вот, теперь мать решила добиться своего, усилив свои позиции дядей-адмиралом. Ольга поняла, что настала судьбоносная минута и собрала все свое мужество. Переубедить мать она не надеялась. Зато дядя, человек мудрый и добрый, вполне мог перейти на ее сторону. А, возможно, даже и помочь найти выход из создавшегося положения. А оно было – только Любе признаться в том можно – нестерпимо! Ведь Саша до сих пор не делал ей прямого предложения, а по временам как будто и вовсе охладевал, отдалялся от нее, увлекшись игрой или какой-нибудь кокеткой из салона его сестры. Ольга боялась, что он, наконец, покинет ее вовсе и... пропадет сам. Такой образ жизни может погубить и более крепкого человека, а уж Сашу-то с его болезненностью, с его хрупкой душой, с расстроенными уже теперь нервами! Ему нужен был свой дом, забота, стержень... И тогда бы таланты его непременно расцвели, и сам бы он исцелился от своих вечных душевных терзаний! Ольга самоуверенно полагала, что лишь она сумеет дать Саше все это. Вот, только как донести эту уверенность до дяди Алексиса?..

– Дитя мое, твой отец целых двенадцать лет ждал благорасположения твоей матери, отказавшей ему при первом сватовстве, пока она не овдовела. Зная твой характер, не сомневаюсь, что ты готова следовать стопам своего почившего родителя. Посему не спрашиваю тебя, любишь ли ты предмет, внушающий столь великие опасения твоей матушке. А спрошу лишь о том, любит ли он тебя?

Морщинистое лицо дядюшки, обрамленное густыми, ухоженными белоснежными баками по обыкновению излучало доброту и благорасположение. Между тем, удар попал точно в цель, и Ольга вынуждена была признаться:

– Я не знаю, дядя. Думаю, и сам он этого еще не знает.

– А уверена ли ты, что он однажды узнает это?

– Я знаю лишь одно: я буду ждать этого часа. Если потребуется, всю жизнь.

– Господи! – сплеснула руками мать. – Ты слышишь, слышишь это, Алексис?!

– Со слухом у меня все замечательно, – мягко отозвался Алексей Гаврилович своим бархатным, успокаивающим голосом. – Вот что, Аня, будь добра, оставь нас наедине.

– Что?!

– Я сказал, что хочу поговорить с племянницей наедине. Тобою ей было сказано уже довольно, к тому же ты слишком нервничаешь. После смерти Фердинанда я глава семьи и потому будь добра уважить мою просьбу.

Эти слова были сказаны со всей возможной кротостью, но под ней крылась непреклонность, и мать, обиженно хмыкнув, удалилась.

– А теперь поговорим спокойно и разумно, – сказал дядя. – Обещай, что будешь со мной откровенна.

– Обещаю, – кивнула Ольга.

– Я не собираюсь тратить свое драгоценное время на убеждение тебя в неправильности избранного пути. Я понимаю, что если уж ты вбила себе в голову желание испортить себе жизнь, то сделаешь это с нашего благословения или без. Поэтому поговорим о другом. Сядь!

Ольга покорно опустилась на стул, ожидая, что скажет дядя.

– Допустим, ты станешь женой этого вертопраха, – начал тот. – В этом случае можно опасаться за твое состояние. Твой бель ами гол, как сокол, и при том совершенно не приучен считать деньги и ограничивать себя. Посему в случае твоего замужества право опеки, данное мне твоим отцом, я оставлю за собой. Нуждаться ты ни в чем не будешь, он также будет получать достойное содержание, но ни гроша на излишества. Надеюсь, что после моей смерти тебе также хватит ума не позволить своему супругу разорить тебя, а попутно разрушить собственную жизнь и жизнь вашей семьи.

– Клянусь, дядюшка, что мне хватит силы духа не допустить этого.

– Ты молода, но силы этой тебе не занимать. А несколько лет такого брака или сломают тебя, во что я не верю, или закалят. Что ж, этот пункт ясен. Перейдем ко второму, – Алексей Гаврилович поскреб подбородок. – Как ты предполагаешь женить его на себе?

Ольга покраснела:

– Дядя, как же я могу его на себе женить...

– Я навел справки о твоём ряженном-суженом, и должен тебе признаться, весьма огорчен результатом. Ему только двадцать два, он никогда не нюхал порошу, а кутит так, что и не всякий гусар потягается. Танцовщицы, карточные игры, вино... И ведь добро бы еще умел он играть и пить, как иные! Так нет же! А потому вечно в проигрыше, в долгах, и вечно пьянее других!

– Дядя!

– Что? – вскинул бровь адмирал. – Я понимаю, дитя мое, что тебе все это слушать неприятно, а, может, и не пристало. Но ты должна знать, на что идешь.

– Я знаю...

– Вот, что я скажу тебе, племянница, этого молодого человека может обратить лишь одно – удаление от той среды и того образа жизни, который он повел с самых нежных лет, и который губит его. Ты согласна со мной?

– Согласна, но я не совсем понимаю...

– Деревня, уединение, рядом единственный цивилизованный человек – ты в виде ангела-утешителя. Вот, в таких условиях ты была бы уже обрученной невестой. Кажется, у него есть небольшое имение где-то в Смоленской губернии?

– Да, но совершенно разоренное.

– Любое разоренное имение можно привести в порядок, если иметь голову на плечах. Во всяком случае, там есть крыша над головой и стены, в которых вполне можно жить. Как тебе покажется такой образ жизни, дитя мое?

– Вы знаете, дядя, я неприхотлива, и городская жизнь никогда не манила меня. Но Саша никогда не поедет туда.

– Добровольно – разумеется. Следовательно, нужно создать условия, которые вынудили бы его туда уехать.

– Но каким же образом?

– Повелением Государя Императора, например.

– Ссылка?! – ужаснулась Ольга.

– Ссылка, моя дорогая, была у светлейшего князя Меншикова в Березове. А называть таким словом жизнь в собственном имении – это значит гневить Бога.

– Но для Саши это будет ужасный удар!

– А жизнь не должна состоять из одних удовольствий – тем более, если последние таковы, что не приносят радость, а на время дают забвение слабой душе, боящейся жизни.

Ольга с удивлением посмотрела на дядю: оказывается, старый адмирал успел хорошо узнать Сашу. Именно таков он и был. Человек, боящийся жизни и прячущийся от нее в сомнительных удовольствиях, отравляющих его душу горечью и разочарованностью.

– Иногда нужно хорошенько получить по темечку, чтобы выпутаться из нетей собственных ошибок и пороков. Не бойся за него. В конце концов, Пушкин пребывает в «ссылке» уже продолжительное время и ничего. Не зачах, не помешался. Талант его лишь расцвел, не растрачиваемый на суету. И твой возлюбленный, постенав и погоревав, приобвыкнется к новому месту, проветрится, протрезвится, откроет для себя много нового и полезного. И, может быть, наконец, решится отвергнуть свои очи, которые он так старается зажмурить, чтобы не увидеть настоящей жизни и не испугаться ее сурового лика. К тому же ты поедешь с ним и смягчишь ему удар.

– Но как же я смогу поехать? Ведь я даже не невеста ему.

– Ты надоумишь его пригласить себя вместе с матушкой и сестрой.

– Матушка ни за что не согласится!

– А вот это уже моя забота, чтобы она согласилась.

– И все-таки, дядя, я сомневаюсь...

– Дитя мое, если он останется в столице, он окончательно погрязнет в долгах.

– Они столь велики?

– Гораздо больше, чем ты думаешь. В случае вашей женитьбы я, конечно, оплачу их, чтобы прошлое не тяготело над заново начатой жизнью. Но для этого необходим ваш отъезд. К тому же я не все еще сказал тебе. Твой ненаглядный друг водит дурную компанию.

– Какую еще компанию?

– Компания молодых людей, слишком вольно мыслящих и жаждущих устроить в нашем Богом хранимом Отечестве забаву навроде французской. Если я что-нибудь понимаю в политике, то нарыв этот скоро прорвется, и тогда головы полетят. И в этом случае ссылка может оказаться уже вполне настоящей, далекой и долгой. Поэтому ради собственного блага твоему бель ами не должно оставаться в Петербурге.

Доводы дяди были столь весомы, что Ольге ничего не оставалось, как согласиться. Алексей Гаврилович удовлетворенно кивнул:

– В таком случае будь готова действовать. И подготовь Любу.

– Я сделаю все, что вы скажете, дядюшка, – пообещала Ольга.

Старый адмирал поднялся и, приблизившись, поцеловал ее в лоб:

– Ты точно все обдумала? То, что ты делаешь, есть принесение себя в жертву и более ничего. Если ты полагаешь обрести мужа, то напрасно. Такие люди могут обладать талантами и прекрасными душевными качествами, они даже могут привыкнуть вести размеренную жизнь, если есть, кому держать их в руках. Но они никогда в существе своем не выходят из младенческого возраста. Тебе придется быть очень терпеливой и очень твердой, а подчас, быть может, и жестокой. Во всяком случае, он будет воспринимать твои действия именно так. Как жестокость. Сможешь ли ты выносить упреки и обиды, сможешь ли ты защитить себя и своих детей?

– Бог даст мне силы, дядя. Я знаю, на что иду, – тихо ответила Ольга.

– Что ж, да будет Его воля, – вздохнул Алексей Гаврилович и, уже направившись к двери, вдруг вернулся и, достав из кармана, протянул племяннице знакомый футляр. – Чуть не забыл. Вот, возьми. И будь добра, никогда больше не делать подобных поступков – иначе я не стану тебе помогать.

В футляре были серьги Ольги, которые она три месяца назад тайно заложила, чтобы Саша мог выплатить срочный карточный долг. Он находился тогда в глубоком отчаянии, так как невыплата грозила ему бесчестьем, и Ольга испугалась, что в припадке черной меланхолии он совершит над собой непоправимое. Эта мысль так ужаснула ее тогда, что она, не раздумывая, заложила драгоценности.

Ольга с дрожью взяла футляр и, не поднимая глаз, порывисто поцеловала руку адмирала:

– Простите, дядюшка!

– Прощаю, дитя мое. И обещаю ничего не говорить твоей матери. Но не вздумай впредь потакать этому человеку подобным образом. Пойми, ты не сможешь ему своими жертвами, а лишь подтолкнешь его к новым и новым проступкам. Ты должна иметь выдержку: не потакать пороку подачками с одной стороны, но и не подавлять даже самое слабое стремление исправиться недоверием. Это, милая моя, куда труднее, чем ходить по канату над пропастью...

Когда Алексей Гаврилович ушел, Ольга поспешила к сестре. Люба, хрупкая девочка-подросток, сидела в кресле, укрытая теплым пледом, и листала томик Парни. Ольга стремительно подошла к ней и, опустившись на пол у ее ног, уткнулась лбом в ее колени. Люба быстро отложила книгу и тронула сестру за плечо. Взглянув в ее вопрошающие, полные сочувствия глаза, Ольга сказала:

– Кажется, я гибну, Люба. Я только что дала дяде Алексису обещания, которые, не знаю, буду ли в силах исполнить. Я не могу оставаться спокойной, когда вижу, что он страдает. Не могу отказать ему в том, о чем он просит. Потому что боюсь за него... Ах, Люба, Люба, где моя рассудительность, которой все так восхищались, а некоторые и попрекали меня? Если бы он был сейчас рядом, мне было бы легче! Но его нет... И я не знаю, где он. Как счастлива и спокойна я была раньше, а теперь мне кажется, что все мое существование отравлено какой-то мукой, неисцельной болезнью.

Люба молчала. Она хорошо знала Сашу. Он, как ни странно, быстро и легко нашел с ней общий язык и даже исправно давал ей уроки живописи. Люба же, обычно дичившаяся чужих, к нему отнеслась с полным расположением и всегда радовалась его приходу. Из этого Ольга сделала вывод, что не ошиблась в сердце Саши. Ее несчастная сестра, подобно детям, удивительно хорошо чувствовала людей. И в Саше за всем наносным без труда угадала чистое и доброе сердце и оттого поверила ему, приняла его.

– Что ты скажешь, Люба, если мы поедem в деревню? В гости к Саше?

– Я буду очень рада, – ответила сестра, с трудом шевеля губами и сильно растягивая слова.

– Не слишком ли много я беру на себя, Люба? Может, ему определен совсем иной путь, а я пытаюсь его изменить? Может, это просто гордость?

Люба погладила Ольгу по голове:

– Разве ты можешь изменить чей-то путь? Это может только Бог. Не бойся, все устроится. Саша хороший... Ты только верь в него и не суди. Если он причиняет тебе боль, то себе стократ большую.

– Ты права, мой ангел, – откликнулась Ольга. – Только поэтому мне и кажется, что он никогда не будет счастлив. Счастье противоречит его природе. Всю жизнь он будет мучить себя и находящихся рядом. А значит и мне не знать счастья. А я бы так хотела, чтобы мы были счастливы! Чтобы он счастлив был...

– Ты не будешь счастлива без него, – сказала Люба. – А с ним... Каждому свой крест дан. Не бойся. Ты сильная, хорошая. Ты сумеешь нести его.

Огромные, печальные глаза смотрели светло и ясно с высохшего и искаженного болезнью лица. Эта девочка несла крест почти с самого рождения, крест ужасный, способный раздавить всякую живую тварь. А она несла, не ропща и не жалуясь, утешая с той чуткостью и мудростью, которые не могли дать ей года, но дала горькая и высокая наука – наука достойно и одухотворенно страдать, обращая собственное страдание в свет для душ окружающих.

К своему старому другу генерал-губернатору Петербурга адмирал Ивлиев имел привилегию заходить попросту и без доклада. Граф Михайло Андреевич принял его за завтраком, тотчас велел принести еще один прибор и пригласив гостя откусать вместе с ним. Алексей Гаврилович не думал отказываться и, прежде чем перейти к разговору, отдал должное губернаторской трапезе. Хозяин же во время оной устало-пафосным тоном рассуждал о тяготах службы на посту градоначальника. То ли дело было на войне! Всякую секунду жизнью рисковал, а ни страха, ни усталости не ведал – и бодро, и весело было на душе, как когда из бани жарко натопленной да в ядреный мороз окунешься.

– Так ведь и лета наши, Михайло Андреевич, уже не те, чтобы жеребцами-то ржать, – заметил Ивлиев, подумав про себя, что в отличие от него, седого и высохшего, граф Милорадович и теперь еще красавец истинный. Раздобыл, конечно, маленько, и лицо, холеное и чувственное, сделалось дряблым, а все ж еще – орел!

Хотя верно, на войне-то ему более быть пристало, чем на гражданском поприще. Там, среди рвущихся снарядов, в огне и дыму, он был истинный герой – слава своего Отечества. Еще в Итальянском и Швейцарском походах Милорадович стяжал ее, сделавшись дежурным

генералом Суворова, чью удаль и отеческое отношение к солдату усвоил. Широко известен был эпизод, когда при переходе через Сен-Готард солдаты заколебались при спуске с крутой горы в долину, занятую французами. И тогда brave Михайло Андреевич воскликнул: «Посмотрите, как возьмут в плен вашего генерала!», – и покатился на спине с утеса. Солдаты, любившие своего командира, дружно последовали за ним.

То была истинная слава. Но стоило на мирных нивах расположиться, так и размякал, и погрязал в восточной неге, и уже глядь – попадал в полон к какой-нибудь чаровнице. А то и не одной... Красавец-серб, по-южному пылкий, всегда пользовался успехом у женщин и сам питал к ним немалую слабость.

Едва не вышло беды с того в Бухаресте, где, прельстившись красотами дочери знатного и богатого грека Филипеску, главы валашского дивана и недруга России, Михайло Андреевич столь тесно сошелся с ее семейством, что невольно стал орудием неприятельских интриг, ведомых через оное. От Филипеску и окружавших его шпионов узнавали турки секретные планы русского командования. Местная знать делала, что хотела, нисколько не стесняемая Милорадовичем, который фактически владывал в ту пору в Валахии, чувствуя себя в Бухаресте наместником. Он успел задолжать там 35000 рублей и ни в чем себе не отказывал. Конец этой дружбе и беспечной жизни положил князь Багратион. Прибыв в Молдавию, он быстро заподозрил неладное и категорически потребовал, чтобы в интересах Отечества Милорадович был со своего поста отозван. Михайлу Андреевича отозвали, и он никогда не простил князю этой обиды.

А потом был 1812-й год, Бородино, после которого командир русского арьергарда добился согласия Мюрата на беспрепятственное продвижение русской армии через Москву. «В противном случае, – заявил ему Милорадович, – я буду драться за каждый дом и улицу и оставлю вам Москву в развалинах». При переходе русских войск на старую Калужскую дорогу арьергард своими энергичными ударами по противнику, неожиданными и хитроумными перемещениями обеспечил скрытное проведение этого стратегического маневра. В горячих боях и стычках он не раз заставлял отступать рвавшиеся вперед французские части. Когда же под Малоярославцем корпуса Дохтурова и Раевского перекрыли путь французам на Калугу, Милорадович от Тарутино совершил столь стремительный марш к ним на помощь, что Кутузов назвал его «крылатым» и именно Михайле Андреевичу поручил преследование неприятеля. А после были Вязьма и Дорогобуж, Красное и Варшава, Кульм и Лейпциг, после которого доблестный серб был возведен в графское достоинство...

Пост генерал-губернатора столицы был венцом его карьеры. Увы, мирная жизнь вновь превратно отразилась на храбром воине. Лишь при серьезных происшествиях наподобие наводнения просыпался прежний Милорадович – распорядительный командир, неустрашимый и благородный герой. Все остальное время трясина страстей и слабостей, не укрощенных летами, затягивала его, бросая тень на славное имя.

Особенно скверно пошли дела после того, как Государю пришла в голову странная мысль назначить боевого генерала еще и директором Большого каменного театра – этой обители прелестных весталок... Что же вышло из этого? Судачили, будто театральная школа сделалась губернаторским гаремом. Для одного по образцу французских королей был заведен специальный парк в Екатерингофском лесу, на украшение которого город истратил более миллиона рублей. Для молодых актрис и воспитанниц здесь были наняты дачки, и в выстроенном зале губернатор стал давать балы, на которых плясали перед ним прелестные танцовщицы... Сластолюбие не есть привлекательная черта и в юношах, а в мужах пожилых и в старцах вызывает смесь горечи, насмешки и стыда.

Ивлиев с тоской созерцал утехи стареющего героя, меж тем как последний занялся еще одним делом, чуждым и не подобающим для себя. Видя встревоженность Государя европейскими революциями, Михайло Андреевич взял на себя обязанности тайной полиции. Трудно

было представить человека более негодного к этой роли, чем Милорадович. Вокруг него вечно крутились подозрительные лица, которым он доверял и которых наивно приближал к себе, подобно хитрым и вероломным валахам. Но донес он зачем-то на молодого поэта Пушкина, которого лишь заступничество Карамзина и Каподистрии уберегло от Сибири.

Увы, воспользоваться именно этой новой ролью графа приходилось теперь Алексею Гавриловичу.

– А я к тебе, Михайло Андреич, за помощью пришел, – сказал он тотчас по окончании завтрака.

– Я весь к твоим услугам, душа моя! – с готовностью отозвался Милорадович.

– Дело весьма щекотливое, – начал адмирал. – Моя дорогая племянница имела несчастье полюбить одного салонного верхолета. Юноша, в сущности, имеет честную душу и светлый ум, но по младости своей увлекся вздорными идеями.

– Это серьезно, – нахмурился губернатор.

– Это может стать серьезно, если ты не сможешь мне спасти этого молодца, который в недалеком будущем должен стать мужем Ольги.

– Помилуй Бог, выражайся, наконец, яснее! – нетерпеливо потребовал граф. – Чего ты хочешь?

– Я хочу, чтобы ты образумил моего будущего родича, подобно тому, как образумил г-на Пушкина.

На холеном лице Михайлы Андреевича отразилось удивление:

– Ты хочешь, чтобы я похлопотал об отправлении его в ссылку? Это ново! Выхлопотать место или награду меня просят всякий день, но ссылку!..

– Я лишь хочу, чтобы молодой человек был на год-другой удален от столичных увеселений в свое имение. Разумеется, без всякого вмешательства полиции, арестов и прочих унизительных процедур. Во имя нашей дружбы выручи меня, а я уж в долгу не останусь!

Последние слова произвели на графа явно благоприятное впечатление:

– Дело-то несложное, – пожал плечами он. – Ты лишь дай мне какой-то формальный повод... Ты же понимаешь, я должен доложить.

– Вот, – Ивлиев протянул Милорадовичу короткую записку.

– Что это?

– Это высказывания, которые молодой человек позволил себе однажды по адресу Августейших особ.

Михаил Андреевич пробежал глазами записку:

– Твой будущий родственник подлец, коли имеет такие мысли! – возмутился он.

– Он был просто сильно пьян. А спьяну чего не сморозишь?

– Ты прав, таким вольтерьянцам в моем городе не место. Я все устрою.

– Только прошу тебя, – адмирал приподнял руку, – все должно быть сделано аккуратно.

Ты же понимаешь...

– Понимаю. Твоя племянница получит своего жениха целым и невредимым. Хотя я не понимаю, как ты допускаешь, чтобы она выходила замуж за такого подлеца. Раньше я не замечал в тебе излишнего либерализма!

– Потому что я всегда берег его лишь для близких, коих, как ты знаешь, у меня немного.

– Что ж, раз ты столь добр, мон ами, то, вероятно, не откажешь и своему старому другу в незначительной ответной услуге?

Михайло Андреевич был опутан долгами куда больше, чем тот, о ком пришел просить Ивлиев. Когда-то молодой Милорадович без счета растрачивал собственные деньги, не жалея их на друзей, женщин и прочие радости жизни. Но оные быстро закончились, и настало время проматывать деньги чужие. Если балы в Екатерингофе оплачивались из городской казны, то все прочее требовало дополнительных средств. Их привыкшему жить на широкую ногу графу

не хватало всегда, а потому он вечно одалживался – в том числе, у подчиненных. Адмирал прекрасно знал об этом и потому, предугадывая эту просьбу, захватил с собой значительную сумму, коей оказалось достаточно, чтобы временно удовлетворить аппетит губернатора и привести его в исключительно доброе расположение духа.

– Можешь считать, что дело уже сделано, – пообещал он. – Я дам тебе знать, как только улажу формальности.

– Премного тебе обязан, – чуть улыбнулся Алексей Гаврилович и откланялся.

## Глава 5.

Внезапная высылка из столицы глубоко потрясла Сашу Апраксина, давно забывшего, что такое сельская жизнь. В родительском имении он прожил лет до пяти, а затем очутился в Москве, в доме бабки, вельможной дамы екатерининских времен, суровой и властной. Хотя рассказывали, что в молодые лета была она весьма хороша собой и не отличалась пуританскими воззрениями, следуя примеру своей правительницы... Увы, старость часто превращает веселых, беспечных женщин в нуднейших моралисток. Видимо, в том, чтобы отравлять жизнь своими нотациями тем, кто в отличие от них еще мог весело грешить, черпают они своеобразную компенсацию за то, что беспощадные годы лишили их возможности подавать аморальные примеры.

Из всех детей бабка фанатично обожала старшего сына, бездельника, мота и волокиту, обладавшего при том исключительным обаянием и блистательной наружностью. Саша тоже был привязан к дяде Антуану, как на французский манер называла его бабка, больше, чем к собственному отцу, человеку жесткому, обиженному на судьбу, а оттого желчному и вечно недовольному. Отца Саша побаивался и к его раздражению всегда искал общества дяди Антуана, с коим всегда было легко и весело. Увы, скоро дядя перебрался в Петербург, и Саша лишился своего единственного друга, которого не перестал любить даже после того, как бабка оставила своему любимцу все свое наследство, ни копейкой не оделив остальных родственников, включая дочь и внуков.

Надо ли говорить, что мать была в бешенстве от такой несправедливости и посылала умершей матери страшные проклятия, так как именно старуха и никто другой погубила ее жизнь.

Мать всегда была болью Саши. Женщина необычайно красивая, гордая и темпераментная, она мечтала блистать при дворе, мечтала о роскоши и поклонниках. Но бабка, ревнуя к ее красоте и молодости, поспешила спровадить ее с глаз долой, выдав замуж за неказистого, пожилого дворянчика, который вдобавок оказался неудачником и вскоре разорился...

Отца мать ненавидела и презирала. Зато к молодому курляндцу-управляющему заметно благоволила. Наблюдательный Саша не раз замечал, как тот невзначай касается руки матери, и это доставляет ей удовольствие. Однажды в грозу перепуганный мальчик бросился искать ее – ему отчего-то примстилось, будто бы она по обыкновению своему ускакала верхом одна и разбилась, упав с лошади. Сперва он тщетно бегал по дому, жалобно зовя маму, а затем, несмотря на дождь, бросился в конюшню. Там Саша нашел родительницу в объятиях курляндца. И хотя младенческий разум еще не мог понять происходящего, мальчику отчего-то стало больно и обидно, и он поспешил убежать, пока его не уличили в подглядывании недозволенного...

Саша до сих пор помнил, как горько плакал сидя один в своей комнате, и как несправедливо отругал его вернувшийся от соседа отец, назвав трусом и каким-то еще жестоким словом. Отец никогда не бывал ласков с ним, а под воздействием вина вымещал на сыне горечь собственного положения.

Мать не вступалась за него. Ей было все равно... А Саша сохранил ее тайну. И многие другие тоже... С возрастом он понял, что курляндец был не единственным другом матери, и с болезненным любопытством приглядывался к мужчинам, бывавшим у нее: как смотрят на нее они, как она отвечает. Приглядывался и старался отгадать, кто же из них теперь похищает его мать, мать, которая непременно любила бы его и была бы с ним нежна, если бы не было всех их.

Саша рано понял, что не унаследовал красоты и отменного здоровья матери. Лишь лицу передалась отчасти миловидность ее, а в остальном рос он таким же худосочным, малокров-

ным, нервным, как отец. Это неприятное открытие принесло за собой следующее: такого, как он, любить нельзя вовсе.

Правда, его новый друг и наставник месье Жан старался разуверить его в этом. Именно месье Жан объяснил ему о жизни его матери все, чего Саша не понимал. Само собой, мать в такого рода разговорах не упоминалась, речь шла о предметах отвлеченных, но этого было довольно. Если присланный дядей Антуаном месье и был докой в какой из наук, то наукой той был порок. И в ней француз старательно наставлял своего воспитанника, пробуждая в детской душе чувства и вождения ей вовсе непристальные. Эти разговоры производили на Сашу двойное впечатление. С одной стороны, его тянуло слушать их, удовлетворяя болезненное любопытство. С другой – пошлые и низкие предметы, о которых повествовал ему наставник, рождали в мальчишке чувство отвращения, стыда и глубокой печали от того, что все поэтичное, прекрасное, высокое оказывалось на проверку ничтожным и грязным.

Не довольствуясь домашним «обучением», отец отдал Сашу в пансион мадам Форсевиль, главным достоинством которого почиталось то, что из него молодые люди выходили настоящими французами. Подобных пансионов в Москве было до двадцати и ничем не превосходили они народных школ, исключая преподавание иностранных языков. Учителя преподавали свои предметы кое-как, ученики зубрили их, но не понимали и забывали тотчас по окончании уроков.

Мадам Форсевиль, несмотря на французское происхождение, родилась в России. Будучи сама безграмотна, она отличалась большой предприимчивостью и проворством. Ее муж, добрый, сморщенный старичок, был простым ремесленником, долгое время работал в Англии и с той поры боготворил эту страну. Покорный своей энергичной супруге, он был вовсе незаметен в пансионе, целыми днями просиживая в своей маленькой коморке-мастерской, в которой содержалось все необходимое для токарной и столярной работы.

В пансионе воспитывались совместно мальчики и девочки. Живя на разных половинах, вместе сидели они в классах, вместе обедали, вместе посещали уроки танцев... Эти последние рождали во впечатлительной душе Саши трепет. Особенно, когда ему выпадала честь становиться в пару с самой красивой девочкой пансиона Ниной. Нине было четырнадцать, и в ней уже почти не было угловатости девочек-подростков, но стать и плавность линий взрослой барышни. Впервые увидев ее в классе, Саша едва не задохнулся от восторга и с той поры едва ли мог думать о занятиях, о чем-то, кроме юной красавицы. Занятия от того немало страдали, учителя сердились, но Саше было все равно. Когда Нина заболела и почти месяц отсутствовала в пансионе, он сам сделался совершенно болен, страхась, что предмет его мечтаний больше не вернется или того хуже – умрет.

Но она вернулась. И они снова стали в пару, и Саша снова чувствовал в своих руках ее нежные ладони, упивался глубиной чудных глаз. После танцев, опьяненный ее приятной и, как показалось ему ласковой улыбкой, он, улучил мгновение, когда они остались наедине, и с жаром поцеловал Нину. Девушка молниеносно отшатнулась, и лицо ее выразило смесь безгливости и презрения:

– Да как только вы посмели!..

Саша готов был расплакаться от обиды, а красавица ушла, обдав его холодом изменившегося взгляда, и пожаловалась мадам Форсевиль. Был грандиозный скандал, и Сашу изгнали из пансиона с позором.

В тот же год умер отец. Тяжелые душевные терзания сделали Сашу нелюдимым, и родные опасались развития у него чахотки. Все свое время юноша посвящал чтению – в основном, переводных романов и поэзии. Вскоре он начал тайком сочинять сам. Природные способности позволяли ему довольно быстро обучаться тому, к чему лежало его сердце: он недурно рисовал, играл на фортепиано, исполнял драматические роли в любительских спектаклях, ставившихся в доме бабкиных знакомых, но его терпения никогда не доставало, чтобы овладеть

каким-либо делом в совершенстве. Всякое занятие, вначале воспламенявшее его до бессонных ночей, скоро прискучивало ему, и он вновь погружался в состояние глубокой меланхолии.

Гостивший у бабки дядя, оценив унылое бытие племянника, повез его с собой в столицу – развеяться и поразвлечься. Саше тогда едва исполнилось шестнадцать. Среда, в которую он попал, вряд ли могла благотворно влиять на юношу столь нежного возраста. Дядя был, как казалось тогда, закоренелым холостяком и вел весьма разгульный образ жизни. Это именно он, дядя, впервые свел его с девицами, которые не брезговали никакой физиономией, если у оной были деньги. Таков был первый опыт «любви», неизбежно горький для ищущей высокой поэзии души, но слишком притягательный для плоти. Рано разбуженная и питаемая романами чувственность разжигала желания, а укрощать их у Саши не было воли, ибо никто никогда не заботился о том, чтобы волю эту, стержень в нем воспитать.

Вскоре, однако же, жизнь снова переменялась. Скончалась бабка, и дядя вступил в права наследования. Наследства хватило ему лишь на оплату своих громадных долгов, и, чтобы, не обнищать окончательно, уже совсем не юный волокита должен был оставить вольную жизнь, сковав себя узами брака. Его женой стала молоденькая дурочка из захудалого рода, имевшая, однако, изрядный капитал.

Дабы задобрить разгневанную сестру, не желавшую даже почтить своим присутствием свадьбу, а заодно отделаться от нее на будущее, дядя выделил ей пенсион и средства для отъезда за границу. Она уехала тотчас, всю жизнь мечтая о том, чтобы обосноваться в Европе. Увы, наслаждаться впервые улыбнувшейся ей жизнью пришлось недолго. Во время одной из верховых прогулок несчастная упала с лошади и сломала себе шею...

Для Саши это стало величайшим горем, которое он словно предвидел с самых младенческих лет, содрогаясь всякий раз, когда мать – прекрасная наездница – уезжала кататься верхом. Он вновь отправился в Петербург, на сей раз к сестре, которая по окончании Смольного сделала фрейлиной Императрицы Елизаветы Алексеевны.

Катрин была очень похожа на мать: и внешне, и характером. Поэтому, когда однажды она объявила о помолвке с молодым офицером Измайловского полка Стратоновым, Саша искренне посочувствовал будущему зятю. Он всем сердцем любил сестру, но, хорошо зная ее, понимал, что она не создана для того, чтобы дать счастье такому простому, цельному и честному человеку, как Юрий. Если, конечно, такие женщины вообще способны давать счастье кому бы то ни было...

В последнем Саша сомневался. Изучение женской души утвердило его во мнении, что есть два типа женщин: те, что созданы для счастья своих мужей, детей, семьи, женщины-жены, женщины-матери, и те, что созданы для мимолетного утоления мелких страстей и разжигания жестокого пожара страстей больших, для мук тех, кому сам рок предназначал любить их, и наслаждений тех, кто ищет в них лишь чувственного удовольствия, удовлетворения похоти. Последнее Саша презирал и ненавидел тем более, что сам оставался поработен этим пороком.

Сколько раз клял он свое детство, родителей, дядю, наставников, приятелей, французских романистов... Все они, точно сговорившись, похитили у души его идеал, у помыслов чистоту, у желаний невинность, а вместо них оставили один лишь угар, отвращение к самому себе, и своему растленному уму, неизменно осквернявшему самый высокий порыв души циничной и низкой мыслью...

Но, вот, однажды на его пути встретилась Женщина. Она была не похожа на тех, к каким Саша привык, и он даже не сразу поверил, что зрение и чувство не обманывают его, не идеализируют приятный ему предмет. Ведь столько раз уже обманывался он, принимая жалкую подделку за истинный бриллиант. И как невыносимо мучительны были эти разочарования!

Бывая у Ольги Фердинандовны, Саша отдыхал душой, отогревался в лучах ее участия и заботы и чувствовал прилив сил, чтобы, наконец, сбросить с себя опротивевшие неги всевозможных гнусностей. Но приходил новый день, и он снова срывался и стыдился показаться

ей на глаза. И все же показывался, когда душу охватывало отчаяние, и больше некуда было податься. Он знал – Ольга не прогонит, не осудит, поймет и пожалеет...

Никто за всю жизнь не жалел его по-настоящему, и, когда Ольга отдала ему свои серьги, чтобы оплатить карточный долг, он был потрясен и затем много раз ругал себя самыми последними словами, что посмел заложить ее вещь, что принял ее жертву, и искренне чувствовал себя самым ничтожным из ничтожеств.

Именно к Ольге бросился он, получив предписание выехать из столицы – растерянный, оглушенный, едва помнящий себя. Она же встретила грозную весть с неизменным спокойствием своей высокой, ясной души:

– Вы напрасно приходите в такое отчаяние, Сашенька, – сказала ласково, опуская ладонь на его нервную руку. – Я уверена, что ссылка не будет долгой, а ваша Клюквинка, единственное ваше достояние давно нуждается в хозяйском пригляде. Подумайте, ведь ваша жизнь в столице проходит, как в тумане, не давая плодов, и вы сами мучаетесь и тяготитесь ею. Клюквинка же даст вам возможность, наконец, заняться настоящим, благородным делом: позаботиться о ваших крестьянах, возродить пришедшее в упадок хозяйство и преумножить его. Как пойдет эта работа, так столица вам и на память не придет! Вы оживете и окрепнете, обретете душевный покой. Я уверена в том, что будет именно так, и именно в этом состоит промысел Божий о вас.

– Но я останусь там совсем один! – воскликнул Саша. – Что я смогу сделать один? Вы не понимаете! Ведь я с ума там сойду уже о того лишь, что не с кем будет слова сказать!

Ольга чуть опустила свои небольшие, но выразительные, мягкие глаза:

– Если бы вы оказали нам с матушкой и сестрой честь и пригласили нас погостить...

Саша в изумлении приподнялся с дивана, на котором они сидели:

– Как, Олинька, как?! Вы хотите поехать в эту глушь?! Вы принесете эту жертву?!

– Разве это жертва? Мы были бы рады немного пожить вдали от столицы. Любочке смена обстановки и жизнь на лоне природы пошла бы на пользу.

– Неужели вы говорите это серьезно, душа моя?

– Конечно, серьезно, – чуть пожала плечами Ольга. – Впрочем, если мы для вас слишком обременительные гости...

– Что вы! – вскричал Саша, сжимая ее руки. – Та честь, которую вы мне оказываете... Да я никогда бы не посмел предложить вам... Это... Милая Олинька, вы мой добрый гений! Я не нахожу слов, чтобы отблагодарить вас!

Ольга весело рассмеялась:

– Это мы благодарны вам за приглашение, – она поднялась и, взяв его под руку, сказала: – А теперь пойдете к Любочке. Она будет очень рада вам. Она, вы знаете, к вам привязана, как к брату, и очень скучала по вам.

Младшая сестра Ольги, действительно, встретила его приветливо. Это кроткое создание, обреченное на неподвижность, внушало Саше чувство благоговения. Он взирал на нее, как на живую икону и в ее присутствии с особой остротой ощущал глубину собственного падения. «Что за беда, что вам придется какое-то время пожить вдали от привычных увеселений? – казалось, вопрошали ее глаза. – Вы молоды и здоровы, и все пути открыты вам, тогда как мне не дано и самой ничтожной малости – поднять свое тело с этого кресла. У вас впереди жизнь, а у меня – краткие годы медленного умирания, физической и душевной пытки, растянутой во времени...» Скорее всего, кроткая Люба так не думала, но сам Саша при виде юной страдальницы всецело ощутил ничтожность собственной беды в сравнении с ее трагедией.

Около часа они провели втроем, музицируя. Саша сыграл девушкам недавно написанную польку, после чего Люба, обладавшая тонким слухом и еще не утратившая гибкости пальцев, повторила ее с ним в четыре руки, раскрасневшись от усилия и в то же время радости.

За обедом Ольга, не дожидаясь, пока оробевший в присутствии ее матери и дяди Саша скажет что-либо, сама объявила, что их семейство приглашено в Клюквинку. Лицо Анны Гав-

риловны не выразило удовольствия от этой вести, однако она ответила сдержанной благодарностью и согласием.

Решив проявить благородство, Саша предложил поехать вперед, дабы подготовить дом к приезду гостей. В душе ему менее всего хотелось ехать одному. Слишком хорошо он знал себя, знал, что стоит ему разлучиться с этим милым ему сердцу обществом, как драконы аббата Тетю опять завладеют его истерзанной душой.

– Очень разумное решение, – одобрила Анна Гавриловна, и сердце Саши упало.

– Разумное, – согласился Алексей Гаврилович. – Но молодому человеку нелегко будет одному справиться с этой задачей. Предлагаю следующее: г-н Апраксин, я и Олинька со своей горничной поедem вперед. А вы с Любочкой последуете за нами. К вашему приезду все будет готово. А как только вы устроитесь, я со спокойной душой отбуду в столицу.

Было заметно, что Анне Гавриловне такое решение не показалось лучшим, но она смолчала, едва заметно закусив губу. Вскоре она сослалась на приступ мигрени, и оставшаяся часть обеда проходила без нее к облегчению Саши, робевшему перед г-жой Реден.

Общество Ольги и Любы немало утешили его, и он уже сам готов был поверить в то, что, обосновавшись в деревне, сможет показать себя рачительным хозяином, и что смена обстановки пойдет ему на благо. Вдохновленный ими, он представлял себе, как станет устраивать дела в имении, какие нововведения учредит, как станет самолично вникать во все дела, не прибегая к услугам воров-управляющих.

И все же одна смутная тревога занозила его не умевшее оставаться спокойным и дольше мгновения безмятежно радоваться чему-либо сердце. Несмотря на гордость свою, Саша прекрасно сознавал, что если милая и добрая Ольга Фердинандовна могла испытывать к нему приязнь и даже нечто большее, то ее родные уж никак не могли видеть в его персоне желанного ей жениха. Тогда для чего такое внимание? Эта поездка, которая явно не прельщает Анну Гавриловну и вряд ли будет легка для Любы? Для чего так хлопотлив старый адмирал? Что им нужно от него, бездельного, неудельного, странного человека с не самой хорошей репутацией? Саша решительно не мог взять этого в толк и от того нервничал и сомневался во всем.

Впрочем, решение было принято, и ничего лучшего судьба в обозримом будущем не сулила ему. Этот факт, если и не положил предел душевным колебаниям, то, во всяком случае, немало приглушил их, и в назначенный день Саша покинул столицу вместе с адмиралом Ивлиевым, его милой племянницей, ее бойкой, ветчинно свежей горничной и собственным лакеем.

## Глава 6.

Кладбищенская тишина, нарушаемая лишь скрежетом одиноких в этот морозный день вороньих голосов, вносила в душу покой и умиротворение. В день кончины матери Юрий пришел на родительскую могилу один, не захотев, чтобы Никита сопровождал его. Ему хотелось побыть наедине с давно ушедшими родными, мысленно обратиться к ним за вразумлением и поддержкой. Время отпуска подходило к концу, и тоскливо становилось на душе от этого. Скоро гостеприимный дом Никольских и саму Москву-странноприимницу сменит холодный Петербург, промозглость и одиночество, которое не с кем разделить... Когда бы хоть война приключилась с турками или персиянами – тогда, глядишь, удалось бы вырваться из столичного каземата.

По долгу службы Стратонову уже надлежало вернуться в столицу, как только стало доподлинно известно о кончине в Таганроге Императора, и войска были приведены к присяге Константину Павловичу. Однако Юрий не спешил. Восшествие на престол нового государя, впрочем, внушало ему определенную надежду. У Константина Павловича не было причин отказать в очередном рапорте с просьбой об отправке на Кавказ. В остальном же Стратонов был невысокого мнения о новом Государе, взбалмошном и много напоминающим своего отца. Московский уют размягчил Юрия, подобно теплой воде, дал его угнетенной душе столь необходимый ей покой, и едва ли не впервые в жизни небольшая человеческая слабость взяла над ним верх. В конце концов, он все еще числился в отпуске по болезни, и формально ничего не нарушал.

С невеселыми мыслями возвращался Стратонов на Большую Никитскую. Он не стал брать извозчика, решив прогуляться по родному городу пешком, надышаться сухим морозным бодрящим воздухом, насмотреться на румяный и веселый люд, так не похожий на столичных жителей, отягощенных малокровьем и расстройством нервов...

Недалеко от дома Юрия настиг всадник с лицом, замотанным до глаз шарфом. Незнакомец остановил лошадь и, по-военному отдав честь, осведомился:

– Вы полковник Стратонов?

– Точно так. С кем имею честь?

– Мне приказано вручить вам это, – всадник протянул ему запечатанное письмо и, еще раз отдав честь, прищпорил коня и скрылся, так и не представившись.

Удивленный Юрий тотчас распечатал письмо. В нем было всего несколько строк, написанных незнакомым почерком:

– Император Константин Павлович отрекся от престола. Заговорщики готовят бунт в гвардии против нового Государя – Николая Павловича. Измайловцы могут восстать также. Если Вам дорога Ваша честь и судьба Вашего брата немедленно выезжайте в столицу. Всякая минута промедления губительна. Ваш друг.

Стратонов, как и все люди, не любил анонимок, но сведения, сообщавшиеся в странной депеше, были столь важны, что он не считал возможным пренебречь ими. К своей чести и чести своей фамилии Юрий относился весьма щепетильно, и мысль о том, что его брат может оказаться впутанным в государственное преступление, что имя их будет покрыто позором измены, казалась ему ужасной. К тому же Великий Князь Николай был шефом Измайловского полка, и Стратонова связывали с ним узы гораздо большие, нежели отношения командира и подчиненного, государева брата и его подданного – узы личной дружбы, которой Юрий дорожил не корысти ради, но из глубокой симпатии и уважения к Великому Князю. Последний был, кажется, самым русским по духу из всей императорской фамилии, лучше других сознавал место и задачи России и в то же время никогда не задумывался о престоле, оставаясь вернопод-

данным своего Августейшего брата. И как же можно допустить, чтобы Измайловцы изменили своему шефу?! Стратонов готов был отдать голову, чтобы не допустить подобного позора.

Взволнованный и бледный, он быстро вошел в кабинет Никольского и плотно притворил за собой дверь. Никита поднялся ему навстречу из-за стола и спросил озабоченно:

– Что-то случилось? На тебе нет лица.

Юрий протянул ему письмо:

– Читай.

Никита поправил очки и быстро пробежал немногословную депешу.

– Что скажешь? – спросил Стратонов.

– Ты имеешь предположение, кто мог это написать?

– Ни малейшего. Курьер мне также не знаком.

– Странно... В любом случае, это очень серьезно, – задумчиво произнес Никольский. – Я ведь много рассказывал тебе в эти недели о нашем положении... Боюсь, что мои мрачные предчувствия начинают сбываться. Если Константин, действительно, отрекся, то мы переживаем сейчас междуцарствие, а междуцарствие, друг мой, самое лучшее время для смущения невинных и наивных умов, умов солдат и простолюдинов, для подстрекательства. Ты должен немедленно ехать в столицу. Даже если это дурацкая шутка, нельзя рисковать.

– Я с тобой согласен, – кивнул Юрий, – буду готов через четверть часа.

– Я велю заложить для тебя экипаж. Или нет! – Никита поднял вверх указательный палец. – По нашим дорогам, еще не заснеженным довольно для санного пути, зато размытым, чтобы остановить всякую карету, ты будешь добираться слишком долго. Недавно я купил замечательного коня. Мне по моему сложению он не годится, поэтому прими его, как мой прощальный дар тебе. Не спорь! Это самый быстрый конь в нашей седовласой Москве! Бери его и скачи, что есть мочи. Бог да поможет тебе!

Через полчаса полковник Стратонов уже мчался на сером в яблоках коне к московской заставе, полный тревожных предчувствий и решимости в случае необходимости со шпагой в руке защищать Государя и Отечество от новоявленных русских якобинцев.

## Глава 7.

Этот вечер на квартире Рылеева вышел жарким. Решалась судьба восстания, судьба России, судьба Общества... Уже составленный план был перечеркнут неожиданной смертью Императора, теперь приходилось принимать решения сообразно вновь и вновь возникающим обстоятельствам, оценивая их мгновенно.

Уже после известия о смерти Александра Рылеев с братьями Бестужевыми ночью ходили по городу, останавливая каждого солдата, останавливаясь у каждого часового и передавая им словесно, что их обманули, не показав завещание покойного Царя, по которому дана свобода крестьянам и убавлена до пятнадцати лет солдатская служба. Этим обманом готовилась почва для подстрекательства к бунту нижних чинов.

Отречение Константина после присяги ему в отсутствие самого Великого Князя, который так и не пожелал приехать из Варшавы, давало исключительный шанс на успех предприятия путем игры на верноподданных чувствах солдат в отношении Константина.

– Подлецами будем, если не воспользуемся! – горячо говорил Пущин.

Горячились и другие.

– Мы скажем солдатам, что Константин Павлович, которому солдаты уже присягнули как Императору, и Великий Князь Михаил Павлович арестованы и находятся в цепях и что солдат якобы собираются силой заставить присягать вторично, – подал идею Михаил Бестужев и тотчас был поддержан Щепиным-Ростовским.

Угрюмый герой Кавказа Якубович, полубезумный после страшного удара горской саблей по голове, был не в духе. Столько времени он лелеял мечту отомстить Императору Александру, услаившему его покорять дикие племена, убив его самолично, и, вот, не случилось. И теперь герой роптал на удержавшего его от этой затеи Рылеева, будто это он и все Общество отняли у него его законную жертву. Тут, однако же, подал голос и он:

– Надобно просто разбить кабаки, позволить солдатам и черни грабеж, а потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви и идти ко дворцу!

– Ни в коем случае! – возразил Трубецкой. – Откуда вы знаете, на кого поворотит пьяная вхлам толпа? И... не стоит допускать чернь, солдат до дворца. Раз получив волю убивать и грабить своих правителей, они уже никому не подчинятся. Нам с вами, в том числе. Уничтожая саму власть, мы не должны подрывать авторитета института власти.

Рылеев был также уверен в необходимости действовать. Еще больной после недавней простуды, с замотанным черным платком горлом, с лихорадочно блестящими огромными глазами, он звал к оружию, заражая своей верой даже колеблющихся.

А поводов для колебания было предостаточно. При такой скорости событий не оставалось времени снести с Пестелем и скоординировать действия. Хуже того, кое-кто из офицеров уже отказался участвовать в наспах состряпанном мероприятии. Даже Рылеев и Оболенский не смогли склонить к участию в деле кавалергардов Анненкова и Арцыбашева. Та же незадача вышла со ставленником Пестеля Свистуновым и командиром Семеновцев, членом Союза Благоденствия Шиповым.

Хуже всего было то, что в рядах Общества оказался предатель. Молодой офицер и литератор Яков Ростовцев написал Великому Князю Николаю письмо, в котором предупредил об опасности и умолял отложить присягу. Ростовцев был принят им, подтвердил свои слова лично, а после этого не побоялся известить о своем поступке бывших товарищей. По требованию Оболенского он дословно воспроизвел письмо и свой разговор с Николаем. Но Николай Бестужев не поверил в откровенность Ростовцева:

– Этот человек хочет ставить свечу Богу и сатане. Николаю открывает заговор, пред нами умывает руки признанием, в котором, говорит он, нет ничего личного. Не менее того в этом признании он мог написать, что ему угодно, и скрыть то, что ему не надобно нам сказывать.

– Если бы Ростовцев назвал нас, мы были бы уже арестованы, – усомнился Кондратий.

– Николай боится сделать это. Опорная точка нашего заговора есть верность присяге Константину и нежелание присягать Николаю. Это намерение существует в войске, и, конечно, тайная полиция о том известила Николая, но как он сам еще не уверен, точно ли откажется от престола брат его, следовательно, арест людей, которые хотели остаться верными первой присяге, может показаться с дурной стороны Константину, ежели он вздумает принять корону.

Николай Бестужев в свои тридцать четыре года превосходил всех присутствовавших опытом и знаниями. Моряк, организатор литографии при Адмиралтейском департаменте, историк русского флота, ныне, спокойно и не теряя достоинства поднимаясь по служебной лестнице, занимал он пост директора Адмиралтейского музея.

– Так ты считаешь, что мы уже заявлены? – спросил Рылеев.

– Непременно. И если будет новая присяга, то мы будем взяты тотчас после нее.

– Значит, выбора у нас нет – только действовать?

– О предательстве Ростовцева кроме нас, – Бестужев обвел спокойным взором собравшихся, – никто не должен знать. Да, мы обязаны действовать. Лучше быть взятыми на площади, нежели в постели. Пусть лучше узнают, за что мы погибнем, нежели будут удивляться, когда мы тайком исчезнем из общества, и никто не будет знать, где и за что пропали.

Рылеев порывисто обнял друга:

– Я уверен был, что таким будет твое мнение! Судьба наша теперь решена! С Богом!

Приняв окончательное решение, заговорщики перешли к разработке более тщательного плана. Оболенский брал на себя распропагандирование Конной артиллерии. Булатов и Сутгоф – Гренадер. Александр и Михаил Бестужевы вместе с Щепиным-Ростовским должны были привести на Сенатскую площадь Московский полк. Якубович и Арбузов брали на себя Гвардейский экипаж и Измайловцев...

В разгар совещания в комнату, никогда не охранявшуюся от сторонних, вошел бывший член Союза Благоденствия, адъютант Милорадовича Федор Глинка. Заметив его, Рылеев махнул рукой:

– Будем продолжать, при Федоре Николаевиче можно.

Глинка, однако же, остановился на пороге:

– Я, кажется, не ко времени и не буду мешать вам. Опять присяга на днях, вы слышали?

– Да, – ответил Кондратий, – и Общество непременно решило воспользоваться этим случаем.

– Смотрите, господа, чтобы крови не было, – покачал головой Глинка.

– Не беспокойтесь, приняты все меры, чтобы дело обошлось без крови.

Когда адъютант губернатора ушел, Якубович нетерпеливо спросил:

– Так как же с Августейшей фамилией?

– Мое мнение, что Царская семья должна быть уничтожена, – ответил Рылеев. – По взятии Зимнего она должна быть арестована, а, если понадобится, тотчас истреблена. Если же не истребят всей фамилии во время беспорядка при занятии дворца, то надлежит заключить оную в крепость и, когда убьют в Варшаве Цесаревича, истребить ее под видом освобождения. Если Цесаревич не откажется от престола, то должно убить его всенародно, и когда схватят того, кто на сие решится, то он должен закричать, что побужден был к сему Его Высочеством. Знаете ли, какое это действие сделает в народе? Тогда разорвут Великого Князя Николая!

План был принят...

– Я уверен, – сказал в завершении Кондратий, – что мы погибнем, но пример останется. Мы положим начало и принесем собою жертву для будущей свободы Отечества!

– Ах, как славно, как славно мы умрем! – восторженно воскликнул Саша Одоевский, глаза которого увлажнились от избытка чувств.

Константин посмотрел на него с сожалением. В сущности, какой наивный ребенок еще этот юноша-князь. Вспомнилось, как не без легкой досады сетовал однажды Саша, что любимый кузен его Грибоедов, спасенный им при петербургском наводнении, отечески наставлял его не мешаться в дела политики, в тайные общества и заговоры. А ведь и прав был мудрый Александр Сергеевич! Куда этому дитяти чистому – да в этакую грязь соваться? А ему, корнету Стратонову – куда? Только что при нем постановили убить всю Царскую семью, не исключая женщин и детей, и он молча принял это. А не смел, не смел принять! Не смел, потому что отец и брат прокляли бы его в противном случае! А он принял... И неужто и дальше пойдет? Пойдет с ними пропагандировать солдат и вести их против законного своего Самодержца под пули верных ему войск? Пойдет на Зимний, чтобы погубить венценосные головы, уподобясь якобинцам? Посягнет на Помазанника Божия? Да разве этого он хотел? Он хотел лишь, чтобы произвол верховной власти был ограничен Законом, чтобы Закон стал во главе всего, чтобы Россия сделалась, наконец, страной свободных людей, Законом огражденных и по справедливости судимых и отличаемых...

Конечно, последний шаг еще не сделан, можно просто отказаться участвовать в преступлении, как отказались Анненков и Арцыбашев... Но что это изменит? Он все равно останется соучастником. Соучастником, трусливо бежавшим в последний момент с поля боя.

Свой выход нашел Ростовцев. Теперь Константин понимал, какую внутреннюю распрю тот пережил, прежде чем сделать свой шаг. Теперь он избавлен от страшной ответственности за кровопролитие. Но пойти по его стопам – как? Как возможно предать собственных друзей, людей, веривших тебе, людей, несмотря на ошибки, движимых идеями благородными? Предать Сашу Одоевского? Рылеева? Пущина? Да не такое же ли это бесчестие, только наоборот?..

Несмотря на холод ночи, Стратонов задыхался. Ему чудилось, будто бы невинная кровь уже липкой пеленой покрывает его лицо, и он то и дело утирал лоб. Конечно, можно кончить все разом. Написать покаянное письмо всем и застрелиться. Это, пожалуй, самый достойный выход из земной коллизии... Но что если вслед явится коллизия небесная?

И почему, почему Великий Князь Константин не принял престола? Ведь в этом случае Общество решило ничего не принимать и даже самораспуститься, не теряя, конечно, связи и не забывая по мере возможности служить поставленным целям...

В таких отчаянных терзаниях Константин брел до тех пор, пока взгляд его не привлекли ярко освещенные окна, из-за которых доносилось веселое пение и музыка. Это был трактир «У Евпла», и Стратонов решил, что более подходящего места для приведения в порядок мыслей и чувств не найти. И хотя офицеру не пристало бывать в подобных заведениях, тем более, в мундире, он пренебрег этим правилом.

Трактирная публика гуляла весело. Хохотали пьяно косматые девки в ярких и открытых платьях, тянули к ним лапищи подвыпившие гуляки из купцов и ремесленников, мелких чиновников и прочих лиц, положение которых определить было невозможно.

Услужливый половой тотчас подал Константину штофик водки с солеными грибочками и осведомился, желает ли его благородие отужинать. Стратонов небрежным жестом отослал его и принялся размыкать тоску. Но тоска не размыкалась... Хотя Константин никогда не имел пристрастия к вину, но водка на сей раз не брала его, и на душе делалось все тошнее.

– Что, господин корнет, никак запоздалые муки совести лишили вас сна в эту прелестную ночь? – раздался вдруг знакомый голос.

Константин вскинул голову и увидел за соседним столиком Кавалеровича. Длинный нос его показался Стратонову еще длиннее, а не сходящая с тонких губ усмешка еще язвительнее, чем обычно. Поляк водку не пил, а угощался белым вином. Подано ему было и жаркое, и сыр, и яичница, и всею он явно намеревался отдать должное.

– О чем это вы, пан? – нахмурился Константин.

– Вы прекрасно знаете, о чем, – прищурил поляк миндалевидные глаза. – Кровь его на нас и на детях наших – вы ведь не готовы возопить так вослед древним иудеям и вашим друзьям?

Константин опасливо огляделся вокруг. Кавалерович понял этот взгляд, и, не ожидая приглашения, проглотил последний кусок яичницы и перебрался с остальным натюрмортом за столик Стратонова.

– Мне казалось, сударь, что друзья у нас общие, – заметил Константин.

– Стало быть, вы и, в самом деле, считаете их себе друзьями?

– Что вы, черт вас возьми, имеете, наконец, ввиду?

– Нес кузнец

Три ножа

Слава!

Первый нож

На бояр, на вельмож.

Слава!

Второй нож

На попов,

на святош.

Слава!

А молитву сотворя

Третий нож на царя.

Слава! – вполголоса пропел Кавалерович рылеевскую песенку из тех, что они с Бестужевым придумывали и пускали в народ, дабы через песни вернее донести до него свои идеи. – Это этих соловьев-разбойников вы почитаете своими друзьями, Константин Александрович? Людей, которые вместо несчастной горстки жандармов, навряд ли превышающей три тысячи душ на всю Империю, собираются окружить освобожденный народ отеческой заботой в виде соглядатаев на каждые четыреста душ?

– Вам не хуже меня известно, что это лишь одна из глупых идей Пестеля, которая никогда не будет исполнена!

– Ошибаетесь! Революции замечательны именно тем, что исполняют самые безумные и кошмарные идеи. Последние всегда побеждают все разумное, когда страсти разнузданы, а пороки выпущены на волю. Поймите, разум не управляет революцией, ею управляют стихийные, звериные начала, – все это Кавалерович говорил со своим обычным невозмутимо-насмешливым видом, поглощая жаркое и запивая его вином.

– Замена одного правительства другим – это еще не революция!

– Разумеется, если глубокой ночью несколько благородных господ забивают, как собаку, венценосца и сажают на его место его сына. Но если вырезать всю семью...

– Этого не будет!

– Непременно будет, потому что иной расклад невозможен. Но позвольте узнать, вы всерьез верите, что ваши милые друзья Одоевские, Рылеевы, Якубовичи, Трубецкие – что они могут управлять государством? Тем более, таким, как Россия? Что они знают о России и управлении? Что умеют делать, кроме как говорить звонкие фразы, нахлобучивать камзолы Руссо и Вольтера на русские плечи и пописывать статейки и стишки?

– Разве нынешние министры знают Россию и дела, коими ведают? – горячо возразил Стратонов. – Нет! Только они еще и не любят России и ее народа! Тогда как...

– Кондратий Федорович и прочие оный народ обожают-с! Допустим. Но скажите мне, господин корнет, какого черта ни один из этих обожателей не сделал такой маленькой мало-

сти, как отпустить на волю собственных крестьян с земельными наделами? Если берешься выступать против крепостничества, так будь честен до конца, начни с себя! Ваши друзья живут мечтами, не имея глубоких представлений ни об одном предмете. И при этом хотят править Империей!

– Они приведут к власти достойных людей! У нас есть Тургенев, Мордвинов, Сперанский, наконец! О сколькие еще, которые примкнут в случае победы!

– Примыкающие к победителям – люди, несомненно, высоких нравственных качеств и принципов. Ваш Мордвинов – старый болтун, желающий быть хорошим для всех и ничегошеньки толком не умеющий.

– Послушайте, сударь! – Константин сжал кулаки – Вы все это время были одним из нас, а теперь говорите так, точно вы наш заклятый враг! Что это значит, Кавалерович?! Кто вы такой? Шпион?

– Скажем так, исследователь человеческой глупости, – жаркое было доедено, и поляк вытер салфеткой усы и холеную руку.

Стратонов стиснул зубы и, едва сдерживая бешенство, выговорил:

– Если бы вы не были калекой, я бы тотчас потребовал сатисфакции!

– И не получили бы ее, – усмехнулся Кавалерович.

– Бойтесь?

– Не считаю должным нарушать закон и похищать жизнь, которая еще вполне может пригодиться Отечеству.

– Подлец! – вскричал Стратонов. – Пеняйте на себя, сударь! Я буду вынужден оскорбить вас действием!

– Поосторожнее в выражениях, юноша, – поляк стал серьезен.

Константин занес руку, чтобы дать наглецу пощечину, но тот с удивительной прытью отразил удар тростью:

– Сядьте, господин корнет, – холодно сказал он. – Я не стану драться с вами. Вы ищете смерти, я же желаю, чтобы вы жили.

– Трус! Ничтожный позер!

– Прежде чем рассыпаться в подобного рода «комплиментах», извольте удостоить своим вниманием одно небольшое представление, – Кавалерович щелкнул пальцами, и на его зов тотчас возник половой. Поляк что-то шепнул, и через несколько мгновений перед ним лежали пистолеты, а на столе у противоположной стены были выставлены в ряд бутылки шампанского.

Трактирные гуляки притихли, предвкушая любопытное зрелище. Кавалерович осушил последний бокал вина, расправил усы и, взяв пистолет, выстрелил. Могло показаться, что он не целился вовсе, но пуля аккуратно «отбила» пробку первой бутылки, и пенящийся напиток брызнул во все стороны. Та же участь постигла остальные, причем последние выстрелы поляк сделал, стоя спиной к своим мишеням. Ни одна пуля не ушла в сторону, ни одна не ударила ниже, разбив бутылку – каждая легко и изящно откупорила «Вдову Клико» к неописуемому восторгу публики, зашедшейся в реве и аплодисментах.

– Шампанского всем! – взмахнул рукой поляк. – Я угощаю!

Эта щедрость вызвала еще больший восторг, и сам хозяин нашел нужным выразить уважение столь выдающемуся таланту. После его ухода Кавалерович обернулся к пораженному не менее других Стратонову:

– Вот, что я имел в виду, господин корнет, когда говорил, что не стану драться с вами ни при каких обстоятельствах.

– Должен признать, я восхищаюсь вашим мастерством, и... сожалею о вашем решении.

– Вам так не хватает небольшого отверстия во лбу? – приподнял бровь поляк. – Стало быть, я угадал, и муки совести, действительно, истязают вашу душу.

– Да, – устало вздохнул Константин, – вы угадали. Кто бы вы ни были, и каковы бы ни были ваши цели, я признаю, что вы правы, Кавалерович. Но если вы думаете, что я сделаюсь вашим орудием против людей, с которыми связан узами дружбы...

– Константин Александрович, скажите мне на милость, каким образом я могу употребить такое орудие, как вы? В качестве доносчика? Но, черт возьми, я знаю о делах Общества больше вашего. Так что вы мне вполне бесполезны.

– И опять вы правы... Я абсолютно бесполезный человек, – вздохнул Стратонов. – И мне лучше уйти.

– Пойдите! – Кавалерович удержал его за руку. – Вы ведь пришли сюда набраться с тоски, как это принято у совестливых и не очень людей? Так зачем отказываться от этого весьма разумного предприятия? Лично я готов вам в этом споспешествовать! Только с условием, что вопросов политических мы более касаться не будем. По мне так добрая попойка лучше худой дуэли.

– Вы странный человек, Кавалерович, – покачал головой Стратонов, отчего-то подчиняясь воле загадочного поляка. – Но черт с вами, я останусь. И пусть в эту ночь мне будет весело! Пусть гремит музыка! Пусть льется вино! Пусть будет самое мерзкое свинство, до которого не должно доходить порядочному человеку. Пусть будет все!

– Золотые слова! – воскликнул поляк и снова сделал знак, по которому через считанные мгновения все пришло в движение. Загремела откуда-то явившаяся гитара, запела хрипло трактирная певичка-цыганка, зашлось все вокруг в хмельном и буйном веселье. И уже первый бокал поданного вина отчего-то тотчас ударил Константину в голову, и все закружилось перед его глазами в странном и пестром хороводе.

## Глава 8.

Он еще не царствовал, но уже всецело ощутил груз той ноши, что вот-вот должна была лечь на его плечи, и которую, во что бы то ни стало, нужно было выдержать, не дрогнув, понести, ни на дюйм не пригнувшись, не показав, сколь тяжела она.

Все началось с пакета от начальника Главного Штаба Дибича, адресованного Императору и доставленного Николаю по причине кончины последнего. Адресованного Императору! Не Константину ли надлежало вскрыть его? Не имея ни власти, ни опыта, ни решимости, ни права отдавать приказы, вправе ли был Николай сделать это сам? Но пакет «о самонужнейшем» лег на его стол и был, скрепя сердце, вскрыт.

В пакете было донесение о чудовищном заговоре. В приложениях к нему, писанных рукою генерал-адъютанта графа Чернышева, заключалось изложение открытого обширного заговора чрез два разных источника: показания юнкера Шервуда, служившего в Чугуевском военном поселении, и открытие капитана Майбороды, служившего в тогдашнем 3-м пехотном корпусе. Заговор касался многих лиц в Петербурге и наиболее в Кавалергардском полку, но в особенности в Москве, в главной квартире 2-й армии и в части войск, ей принадлежащих, а также в войсках 3-го корпуса. Показания были весьма неясны, неопределенны, но, однако, еще за несколько дней до кончины своей покойный Император велел генералу Дибичу, по показаниям Шервуда, послать полковника лейб-гвардии Казачьего полка Николаева взять известного Вадковского, за год выписанного из Кавалергардского полка. Еще более ясны были подозрения на главную квартиру 2-й армии, и генерал Дибич уведомлял, что вслед за сим решился послать графа Чернышева в Тульчин, дабы уведомить генерала Витгенштейна о происходящем и арестовать князя Волконского, командовавшего бригадой, и полковника Пестеля, в одной бригаде командовавшего Вятским полком...

На этом дело не кончилось. Во время одной из прогулок неподалеку от Аничкова дворца, которую Николай совершал в одиночестве, к нему неожиданно приблизилась облаченная в темное дорожное платье дама, лицо которой было скрыто вуалью. Дама сделала легкий реверанс и со словами:

- Ваше Высочество, возьмите – это очень важно, – подала ему еще один пакет...
- Что здесь? И кто вы, сударыня?

Но незнакомка не ответила и, быстро вскочив в проезжавший мимо экипаж, исчезла, оставив Николая в полном недоумении.

Содержимое пакета лишь усилило оное, ибо явилось новой и весьма значительной частью мозаики, некоторые детали которой были уже присланы Дибичем. Новые факты изобличали петербургскую часть заговора и его руководителей и участников, имена многих из которых потрясали душу.

Этих двух пакетов достало бы, чтобы привести в полную растерянность даже более подготовленного к таким испытаниям человека. Но и ими не ограничились открытия и предупреждения.

Третьим вестником угрозы стал адъютант генерала Бистрома подпоручик Яков Ростовцев. Этот также явился с пакетом для Великого Князя. В пакете было его собственное письмо, немало тронувшее Николая.

«В продолжение четырех лет с сердечным удовольствием замечав, иногда, Ваше доброе ко мне расположение; думая, что люди, Вас окружающие, в минуту решительную не имеют довольно смелости быть откровенными с вами; горя желанием быть по мере сил моих, полезным спокойствию и славе России; наконец, в уверенности, что к человеку, отвергшему корону,

как к человеку истинно благородному, можно иметь полную доверенность, я решился на сей отважный поступок.

...Противу Вас должно таиться возмущение; оно вспыхнет при новой присяге, и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России.

Пользуясь междоусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, может быть, и Литва от нас отделятся; Европа вычеркнет раздираемую Россию из списка держав своих и сделает ее державою Азиатскою, и незаслуженные проклятия, вместо должных благословений, будут Вашим уделом.

Ваше Высочество! Может быть, предположения мои ошибочны; может быть, я увлекся и личною привязанностью к Вам, и любовью к спокойствию России; но дерзаю умолять Вас именем славы Отечества, именем Вашей собственной славы – преклоните Константина Павловича принять корону!.. ...Излейте Ему, как брату, мысли и чувства Свои; ежели Он согласится быть Императором – слава Богу! Ежели же нет, то пусть всенародно, на площади провозгласит Вас Своим Государем.

...Ежели Ваше воцарение, что да даст Всемогущий, будет мирно и благополучно, то казните меня, как человека недостойного, желавшего, из личных видов, нарушить Ваше спокойствие; ежели же, к несчастью для России, ужасные предположения мои сбудутся, то наградите меня Вашею доверенностью, позволив мне умереть, защищая Вас».

Прочтя это послание, Николай позвал молодого офицера в кабинет, запер за собою обе двери и, взяв его за руку, обнял и расцеловал:

– Вот, чего ты достоин, такой правды я не слыхивал никогда!

– Ваше Высочество! – с волнением отвечал юноша: не почитайте меня доносчиком и не думайте, чтобы я пришел с желанием выслужиться!

– Подобная мысль недостойна ни меня, ни тебя, – сказал Николай. – Я умею понимать тебя. Скажи, тебе известно что-нибудь о заговоре против меня?

– Многие питают против вас неудовольствие, – ответил Ростовцев, смутившись. – Хотя все эти дни, что на троне лежит гроб, обыкновенная тишина не прерывалась, но и она может скрывать возмущение. Люди благоразумные видят в вашем мирном воцарении спокойствие России...

– Но есть и другие?

– Других я не могу назвать... – подпоручик опустил глаза, и Николай с пониманием кивнул:

– Может быть, ты знаешь некоторых злоумышленников и не хочешь назвать их, думая, что это противно твоему благородству – и не называй! Мой друг, я плачу тебе доверенностью за доверенность! Ни убеждения матушки, ни мольбы мои не могли преклонить брата принять корону; он решительно отрекается, в приватном письме укоряет меня, что я провозгласил его Императором, и прислал мне с Михаилом Павловичем акт отречения. Я думаю, этого будет довольно.

– Ваше Высочество, для спокойствия России нужно, чтобы Константин Павлович прибыл в Петербург сам и сам, на площади, провозгласил вас своим Государем!

– Что делать! – развел руками Николай. – Он решительно от этого отказывается, а он – мой старший брат. Впрочем, будь покоен. Нами все меры будут приняты. Но если разум человеческий слаб, если воля Всевышнего назначит иначе, и мне нужно погибнуть, то у меня – шпага с темляком: это вывеска благородного человека. Я умру с нею в руках, уверенный в правости и святости своего дела и предстану на суд Божий с чистой совестью.

– Вы думаете о собственной славе и забываете Россию: что будет с нею? – страдальчески воскликнул подпоручик.

– Можешь ли ты сомневаться, чтобы я любил Россию менее себя? Но престол празднен, брат мой отрекается, я единственный законный наследник. Россия без Царя быть не может.

Что же велит мне делать Россия? Нет, мой друг, ежели нужно умереть, то умрем вместе! – с этими словами Николай вновь обнял Ростовцева. – Этой минуты я никогда не забуду. Знает ли Карл Иванович, что ты поехал ко мне?

– Он слишком к вам привязан: я не хотел огорчить его этим. А, главное, я полагал, что только лично с вами могу быть откровенен насчет вас.

– И не говори ему ничего до времени. Я сам поблагодарю его, что он, как человек благородный, умел найти в тебе человека благородного.

– Ваше Высочество, всякая награда осквернит мой поступок в собственных глазах моих! – горячо сказал юноша.

– Наградой тебе – моя дружба, – ответил ему Николай.

Да, верных было много, и на них возлагал он свои надежды, и все же выпавший жребий ощущался им великим несчастьем...

Будучи третьим сыном Императора Павла, Николай никогда не готовился царствовать. Наличие двух старших братьев как будто вовсе исключало эту возможность. Оттого и воспитанием его занимались не столь усердно, как их.

Наставник Николая и Михаила, граф Ламздорф, человек грубый и недалекий, обходился со своими подопечными жестоко и зачастую несправедливо. Другие же учителя подражали ему. Юных Великих Князей нередко наказывали розгами. Строгость, с запальчивостью употребляемая по поводу и без повода, отнимала у них чувство вины, доверие к наставникам и даже собственной матери, интерес к учению, оставляя взамен страх и искание, как избежать наказания. Оба брата мечтали лишь о воинском служении и в учении видели одно принуждение.

Своего отца Николай помнил плохо. Ярko вспоминался лишь день зачисления в Измайловский полк. Николай, живший тогда в Павловске, ожидал в нижней комнате прибытия Августейшего родителя. Завидев его, он пошел навстречу к калитке малого сада у балкона. Отец отворил калитку и, сняв шляпу, сказал:

– Поздравляю, Николаша, с новым полком! Я тебя перевел из Конной гвардии в Измайловский полк, в обмен с братом.

Николаю шел тогда четвертый год. И это радостное известие произвело на него столь сильное впечатление, что память о нем не изгладилась и с годами.

Не менее явственно вспоминалось и событие скорбное – смерть отца. Вечером накануне трагедии дети играли в своих покоях. Трехлетний Михаил почему-то не принимал участие в общих забавах, а один играл в углу. На вопрос англичанки, что он делает, брат ответил:

– Я хороню своего отца!

Гувернантки всполошились и запретили Михаилу эту странную и пугающую игру...

В тот же вечер отец в последний раз посетил Николая, и тот полюбострадал у родителя, отчего его называют Павлом Первым.

– Потому что не было другого государя, который носил бы это имя до меня, – ответил отец.

– Тогда меня будут называть Николаем Первым, – отчего-то уверенно заключил Николай...

В ту же ночь он был разбужен графиней Ливен и вместе с другими детьми отведен в покои матушки, лежавшей в глубине комнаты с заплаканным лицом. Вскоре явился брат Александр в сопровождении Константина и графа Салтыкова. Он бросился перед матерью на колени, и Николай на всю жизнь запомнил его отчаянные рыдания...

Старшего брата, всегда ласкового, прекрасного лицом и манерами, Николай боготворил. Однажды, будучи в Царском Селе, он узнал, что Измайловский полк заступает во внутренний караул. При дверях в комнату Александра часовых никогда не бывало: Император говорил, что желал бы быть охраняемым любовью своих подданных. Зная это, Николай на рассвете

облачился в измайловский мундир и, когда все еще спали, незаметно прошел к покоям брата и встал с ружьем на часах.

– Что ты тут делаешь, любезный Николай? – с удивлением спросил Александр, когда вышел из комнаты по пробуждению.

– Вы видите, Государь, что я занимаю караул у дверей вашего величества. Полк мой сегодня должен занимать дворец, и я выбрал себе самый почетный пост; я занял его с раннего утра, чтобы его у меня не отняли.

– Хорошо, дитя мое, – с улыбкой кивнул Император, – но что ты стал бы делать, если бы пришел обход: ведь ты не знаешь пароля...

– Ах, и в самом деле, ведь всегда отдается пароль и лозунг... – спохватился Николай, но тотчас добавил: – Но все равно я не пропустил бы никого, будь это сам Аракчеев, который проходит всюду!

Служить Государю и Отечеству – в этом было все его желание с детских лет. Позднее добавилось и еще одно – желание семейного счастья.

Во время своего первого пребывания в Париже по окончании войны в 1814 году, Николай свел знакомство с герцогом Орлеанским. Созерцание редкого семейного счастья последнего произвело на него сильное впечатление, глубоко запавшее в душу.

– Какое громадное счастье жить так, семьею! – сказал он герцогу.

– Это единственное и прочное счастье, – ответил герцог Орлеанский убежденно.

Этот разговор стал как будто прологом к собственному счастью Николая. Возвращаясь в Россию, он остановился в Берлине и познакомился там с принцессой Шарлоттой. Впечатление, которое они произвели друг на друга, как нельзя более отвечали желаниям Александра и прусского короля. Очаровательная юная принцесса, тонкая, хрупкая, мечтательная, показалась Николаю созданием вовсе неземным, сотканным из воздуха, беззащитным. Одной встречи с нею было довольно, чтобы понять – эта женщина назначена ему Богом, и никакой иной рядом с ним не будет.

Их помолвка состоялась годом позже, а еще через два года Николай встречал избранницу, нареченную Александрой Федоровной, в России...

Первые годы супружества ничто не омрачало их семейного счастья. Уже на другой год после свадьбы Бог благословил этот союз рождением сына. Великая Княгиня своей сердечностью и веселостью легко завоевывала расположение без исключения всех, с кем приводилось ей общаться. Сам Николай занимался делами службы, а все свободные часы посвящал семье. Чтения вслух, прогулки вдвоем в коляске, которую он сам правил – все это было неотъемлемой частью их досуга.

Но недолго позволено было наслаждаться безмятежностью. Летом 1819-го года, когда Николай командовал 2-й гвардейской бригадой под Красным Селом, в какой-то из дней после учений на обед к нему с женой пожаловал Император. Никого более за столом не было, а потому беседа носила самый доверительный характер. Начавшаяся с предметов самых невинных, она неожиданно приняла самый потрясающий оборот, полностью сокрушивший мечту о тихой и спокойной будущности.

– Я с большой радостью вижу ваше семейное блаженство, – сказал Александр. – Сам я счастья сего никогда не знал по вине моей безрассудной молодости... Увы, ни я, ни Константин не были воспитаны так, чтоб уметь ценить с молодости это счастье. И, вот, печальное следствие: оба мы не имеем детей, которых бы могли признать. Признаюсь, это чувство самое тяжелое для меня. К тому же, я чувствую, что силы мои ослабевают, тогда как в нашем веке государям, кроме других качеств, нужна физическая сила и здоровье для перенесения больших и постоянных трудов. Скоро я лишусь потребных сил, чтоб по совести исполнять свой долг, как я его разумею. Потому я решил, считая это долгом, отречься от правления с той минуты, когда почувствую тому время. Я неоднократно говорил о том брату Константину, но

он, имея со мной почти одни годы и обстоятельства, а вдобавок природное отвращение к престолу, решительно не хочет мне наследовать. Оба мы видим в вас знак благодати Божией – дарованного вам сына. Поэтому вы должны знать наперед, в какое достоинство призываетесь.

Пораженный Николай словно онемел, выслушав эту речь. Он взглянул на жену – та не могла вымолвить ни слова и лишь глотала струящиеся по щекам слезы. Николай и сам чувствовал, как ком подкатывает к горлу, и, потупив глаза, продолжал молчать.

Видя, какое глубокое, терзающее впечатление произвели его слова, Александр с ангельскою, ему одному свойственною ласкою пустился в утешения. Он говорил, что минута столь ужасному перевороту еще не настала и не так скоро настанет, что может быть лет десять еще до оной, но что должно заблаговременно привыкать к сей неизбежной будущности.

– Но, Ваше Величество, я себя никогда на это не готовил и не чувствую в себе ни сил, ни духу на столь великое дело! – вымолвил Николай, наконец, вновь обретя дар речи. Одна мысль, одно желание мое было – служить вам изо всей души, и сил, и разума моего в кругу поручаемых мне должностей. Мысли мои даже дальше не достигают!

– Николай, когда я вступил на престол, то был в том же положении, – ответил брат. – Мне было тем еще труднее, что нашел дела в совершенном запущении от совершенного отсутствия всякого основного правила и порядка в ходе правительственных дел. Хотя при бабке нашей в последние годы порядку было мало, но все держалось еще привычками. При восшествии же на престол родителя нашего совершенное изменение прежнего вошло в правило: весь прежний порядок нарушился, не заменяясь ничем. С моим восшествием на престол по сей части много сделано к улучшению, и всему дано законное течение, поэтому ты найдешь все в порядке, который тебе останется лишь удерживать.

«Порядок, который останется лишь удерживать», – эти слова вспоминались теперь с горькой усмешкой. Отменный порядок – ничего не скажешь! Кажется, что в заговорах погрязло все и вся...

А тогда по отъезде Императора Николай еще долго не мог прийти в себя, и собственное положение заранее казалось ему ужасным. Одно только и ободряло немного, что брат еще не стар и полон сил, а, значит, приговор, Бог даст, осуществится еще не вскоре.

Но и тут надеждам не суждено было оправдаться. Лишь шесть лет минуло с того разговора, и, вот, на престоле лежал гроб, а вокруг него нарастала смута, в которой двое Великих Князей обменивались курьерами, разрешая вопрос, кому же из них царствовать, ибо о деле, заранее решенном между старшими братьями, так и не было объявлено открыто.

Едва получив скорбное известие о кончине брата, Николай, следуя долгу, присягнул Константину. Примеру его последовали и все бывшие тогда во дворце военные и гражданские чины. Когда об этом узнала убитая горем мать, то пришла в отчаяние:

– Николай, что ты сделал! Разве ты не знаешь, что существует акт, по которому ты назначен Наследником престола?

Злые языки могли бы вдоволь потешиться: он, Наследник престола, не ведал о таком акте! О нем знали старшие братья. О нем знала мать. О нем знал князь Голицын, прибывший вскоре и также выговоривший за поспешность присяги, и объявивший, что в Совете есть особая бумага о порядке наследования, что акт, о котором говорила Императрица, лежит на престоле Московского Успенского собора, а копии его, рукой Голицына переписанные – в Синоде и Сенате. И лишь он, Николай, не знал ничего! Ему никто не изволил сообщить этой «мелочи», от которой зависела вся его судьба и судьба России.

С трудом сдержав досаду, он ответил матери:

– Если такой акт существует, то он мне неизвестен, и никто о нем не знает. Но мы все знаем, что наш Монарх, наш законный Государь после Императора Александра есть мой брат Константин. Мы исполнили, следовательно, только нашу обязанность: пусть будет что будет!

Акт, скрепленный подписью Александра, был объявлен вскорости на заседании Совета, и все члены его пришли в величайшее смущение, узнав о том, что Николай отрекся от предоставленного ему права и присягнул Константину.

Сам он поспешил отправить брату письмо с выражением верноподданических чувств и мольбой принять престол. В то время, когда курьер был еще в пути к Варшаве, оттуда в столицу примчался Михаил, дотоле гостивший у Константина и от него узнавший горькую весть. Еще в дороге он с ужасом узнал о присяге и сразу понял, что при переприсяге беды не миновать. В том же, что новая присяга будет необходима, он не сомневался. О своих намерениях Константин, с коим были они весьма близки, говорил ему много раньше, просив, чтобы этот разговор оставался между ними, подтвердил их и перед отъездом Михаила в Петербург.

По приезде в Зимний, Михаил поспешил к матери. Они беседовали с глазу на глаз, а Николай дожидался решения своей судьбы в соседней комнате. Наконец, Императрица появилась в дверях и объявила:

– Итак, Николай, преклонись перед твоим братом Константином: он вполне достоин почтения и высок в неизменяемом решении передать тебе престол.

Николай слушал эти торжественные слова с тяжелым сердцем, невольно спрашивал себя, кто же приносит большую жертву? Тот ли, который отвергал наследство отцовское под предлогом своей неспособности и который, раз на сие решившись, повторял только свою неизменную волю и остался в том положении, которое сам себе создал сходно всем своим желаниям? Или же тот, который, вовсе не готовившийся на звание, на которое по порядку природы не имел никакого права, которому воля братняя была всегда тайной, и который неожиданно, в самое тяжелое время и в ужасных обстоятельствах должен был жертвовать всем, что ему было дорого, дабы поклониться воле другого?..

– Прежде чем преклоняться, позвольте мне, матушка, узнать, почему я это должен сделать, ибо я не знаю, чья из двух жертв больше: того ли, кто отказывается от трона, или того, кто принимает его при подобных обстоятельствах, – холодно ответил он.

Положение так и осталось неопределенным. Решено было вновь писать Константину с изъявлением готовности поклониться его воле, если она будет подтверждена вновь, принимая во внимание уже состоявшуюся присягу. Николай и Императрица также просили его приехать в Петербург лично, дабы ни в ком не зародилось сомнений.

Поскольку пребывание Михаила в столице при непринесении им присяги рождали лишние кривотолки, то он был вновь отправлен в Варшаву дабы попытаться лично убедить Константина приехать. Однако, до Варшавы он не доехал, встретив по пути возвращавшегося оттуда курьера с ответом старшего брата. Ознакомившись с ним, Михаил почел за благо остановиться на середине пути в ожидании дальнейших приказаний.

В своем кратком ответе Константин повторял свою измененную волю, отказывался от приезда в Петербург и грозил уехать еще дальше, если все не устроится сообразно решению покойного Государя.

В сущности, надеяться больше было не на что. Но подобно постриженнику, трижды отвергающему ножницы, прежде чем принять обет, Николай решил дождаться возвращения своего последнего гонца – фельдъегеря Белоусова.

Дни ожидания, наполненные стущающимися сведениями о заговоре, тянулись томительно долго. Граф Милорадович изо дня в день докладывал о том, что в городе все спокойно и нет никаких поводов для тревог, но в это слабо верилось. Николаю вспоминалась встреча в Париже с известным писателем Шатобрианом, впавшим в то время в немилость у правительства Людовика XVIII. Разговаривая с ним об этом, Николай с недоумением заметил:

– Я удивляюсь, виконт, что вы, друг Бурбонов, а делаете им более зла, чем могли бы сделать их враги.

– Зачем же они не слушают моих советов? – с живостью возразил Шатобриан. – Если бы русский подданный явил бы императору Александру столько доказательств преданности...

– Его величество император принимает советы только тогда, когда сам удостоит спрашивать их, – резко прервал его Николай.

Шатобриан пожал плечами и принялся объяснять своему гостю, что престол Людовика XVIII повис над бездной, в которой кишат тайные общества и заговоры, порожденные атеизмом, либерализмом и бонапартизмом. Под конец он обронил устало:

– Впрочем... теперь все государства в таком положении: революция подводит под них подкопы. И у вас в России имеются свои минеры; но когда настанет время зарядить мину и воспламенить заряд, Франция, будьте в том уверены, наделит вас своими пальниками.

Тогда это показалось совершенно невозможным плодом писательского воображения, а теперь представилось зловещим пророчеством. Неведомые пальники уже поднесли огонь к смертоносным орудиям, коим надлежало сокрушить всю Россию, обратить ее из величайшей в мире державы, освободительницы Европы в хаос, в пугало и посмешище для всего мира... И как противостоять этому? Не зная, не понимая, не будучи готовым... Не имея, к кому обратиться – одному, совершенно одному без совета! Достанет ли силы и разума? Оставалось уповать лишь на Божию милость...

Белоусов прибыл, когда Николай обедал вдвоем с женой. Немедленно вскрыв привезенный пакет, он с первых строк понял, что участь его решена окончательно и бесповоротно. Константин подтверждал свою волю, благодарил за изъявления доверия и дружбы, давал советы, как начать Царствование... и уж, конечно, не собирался покидать Варшаву.

– Посылаю тебе благословение старшего брата, от глубины сердца, всеми ощущениями тебе принадлежащего, и удостоверяю тебя, как подданный, в преданности и беспредельной привязанности, с которыми не перестану быть твоим преданнейшим братом и другом... – дочитав письмо, Николай поднял взгляд на жену.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.